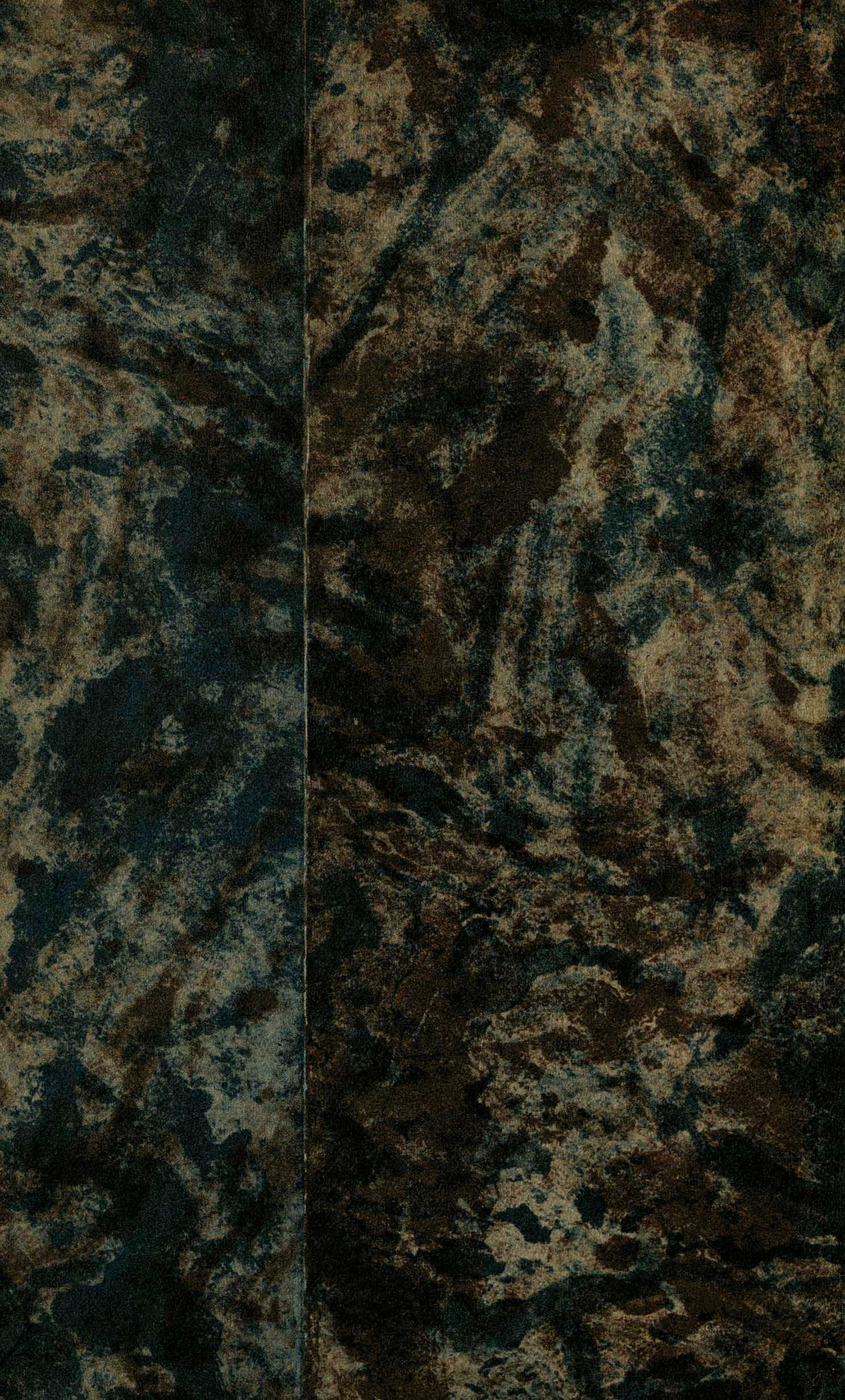
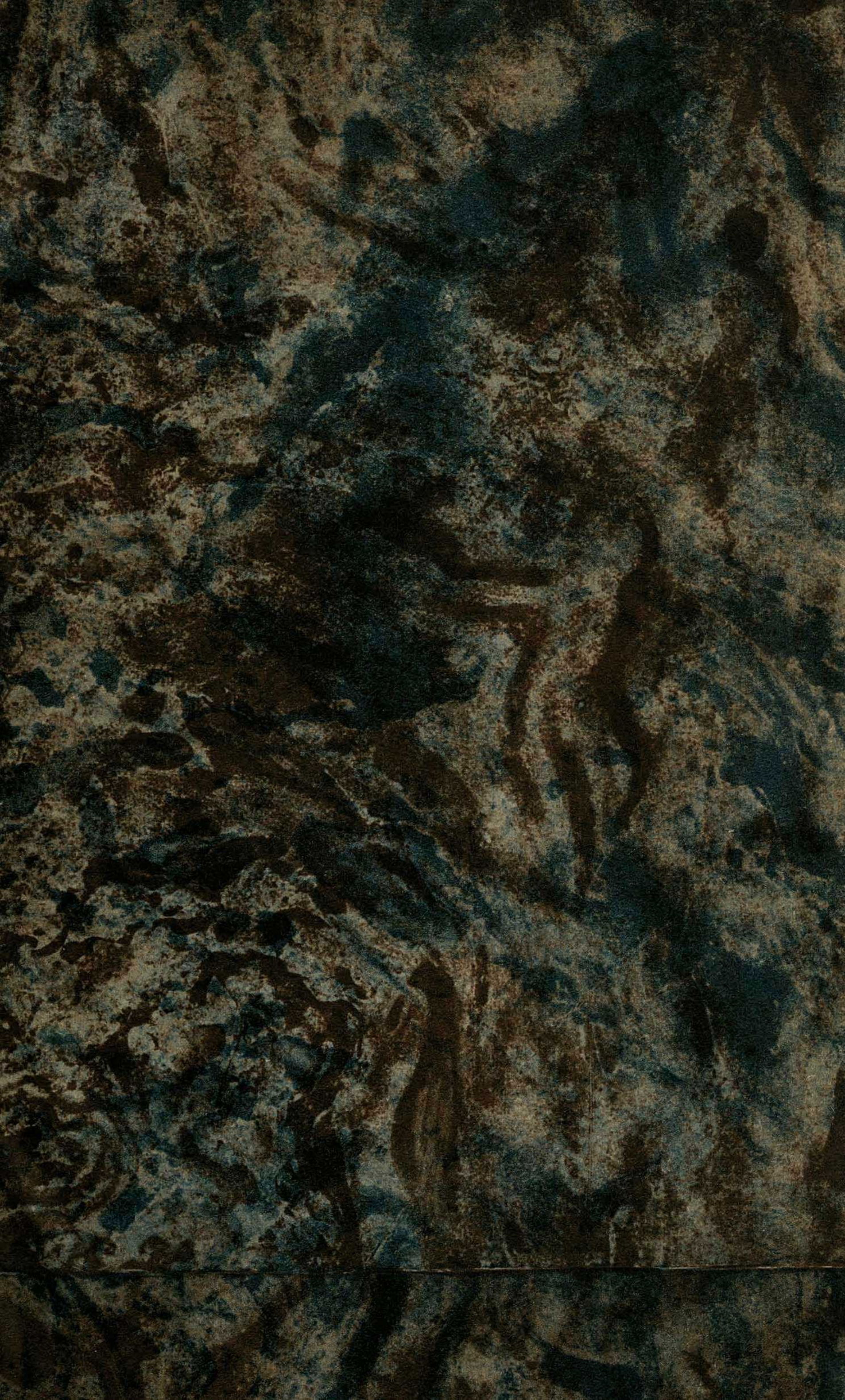
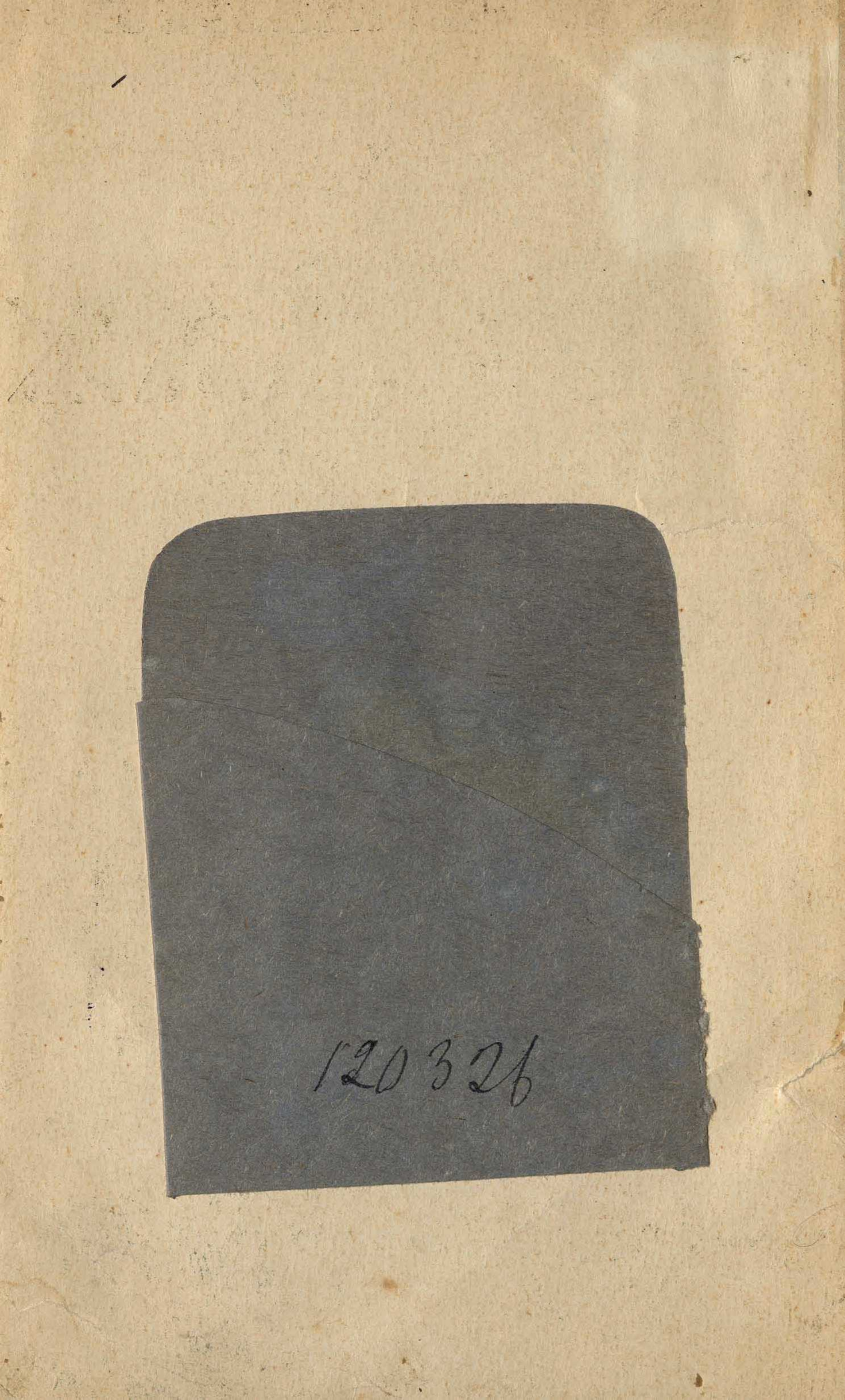





АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ
ОПБ
Щб23
Му-405
R 460/133
В САДАХ
РАССКАЗЫ
"ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"


120326

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

В САДАХ

РАССКАЗЫ

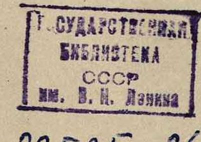
1923 г.

ПЯТАЯ ТЫСЯЧА



„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД







Обложка художника Ридигер.
Отпечат. в типографии ф-ки „Светоч", Ленинград, Б. Пушкарская, 18, в кол. 5.000 экз. 15 л.
Ленинградский Гублит № 14139
1926





Основная группа произведений Неверова, вошедших в 6-й том, написана в последние месяцы жизни писателя, появились же в свет эти рассказы частью незадолго перед его смертью, частью в качестве посмертных.

Почти все они окрашены особым оттенком — страстной жаждой жизни, любви, тягой к солнцу, к счастью, к радости. Многие и темой своей имеют — любовь.

Пережив тяжелые годы разрухи и голода, Советская Россия жадно потянулась к строительству; новые, крепкие ростки радостно полезли из почвы. Чутким барометром оказалось и творчество Неверова. От мотивов, связанных с гражданской войной, голодом, он переходит к иным темам, к бодрым, солнечным тонам. Он умеет найти эти новые, светлые краски тут-вот, поблизости, в самом себе, в окружающей жизни, с которой сброшены сжимавшие ее раньше оковы. Оттого так прекрасны, так ярки эти последние создания Неверова.

Его „душа“ как-то особенно радостно раскрылась в последние месяцы, потянулась к счастью и красоте. По словам друзей Неверова, он болезненно ощущал недостаток ярких красок в своей личной жизни и восполнить этот недостаток стремился в творчестве, создавая образы, насквозь пронизанные солнцем, дышащие красотой и любовью. Когда Неверов читал свои рассказы о любви в приятельском кругу, некоторые не достаточно чуткие товарищи, критикуя, говорили смущенному автору: „Да ты женщин не знаешь, Неверов! Не бывает таких, как ты описываешь!“ Но Неверов — хотя, быть может, никогда и не видал таких женщин — знал, творчески чувствовал, что такие женщины есть, должны быть.

Одним из лучших достижений Неверова являются рассказы — „В садах“ и „Полька-мазурка“. Рассказ „В садах“ весь пронизан солнцем, теплом, здоровьем, почти первобытной радостью жизни. Героиня — Маринка, эта русская Кармен, пленяет своей цельностью, непосредственностью. Подобных ей образов немного найдется в нашей литературе. Но Маринка, все же, лишь только прелестное животное, привлекающее своей красотой, естественностью, каким-то первобытным инстинктом жизни; зато Тоня (из „Польки-мазурки“) очаровательна не одной красотой и девичьей грацией; это — уже женщина наших дней. Она не желает брака-кабалы, она участвует в спектаклях в деревенском народном доме; она может стать энергичной строительницей новой жизни. Правда, она уступает тем героиням Неверова,

которые проявили себя на более серьезной общественной работе (Марья-большевичка, Аннушка из „Андрона непутевого“ и др.), но в этом рассказе Неверов и не ставил себе целью изобразить новую женщину с этой стороны. Его задачей было показать благодетельную силу этой девушки, которая способна всю жизнь перевернуть человеку. И наивно-расчетливый, грубоватый Гурьян, фигура которого нарисована Неверовым на-редкость удачно и правдиво, должен стать совсем другим человеком под влиянием Тони.

Рядом с этими двумя рассказами надо поставить и рассказ „Шкрабы“. Быт советского учителя, „шкраба“, который Неверову вновь довелось понаблюдать во время своей поездки на родину, в конце лета 1923 г., передан со свойственными Неверову мастерством и правдой. Прелестен образ учительницы Катеньки, ставшей женой учителя Сергея Ивановича; прелестна их любовь, простая, товарищеская любовь новых свободных людей Советской России, немного наивных, несколько по-обывательски настроенных, но честно желающих „работать с коммунистами на общую пользу“. Таков наш рядовой сельский учитель, этот верный союзник в строительстве коммунистического будущего. Нарисовав „шкрабов“ именно такими, Неверов чутко предугадал те настроения, которые выявились на Всесоюзном учительском съезде в начале 1925 года.

Особое место в творчестве Неверова занимают „Маленькие рассказы“, написанные в разное время, но объединенные автором в один цикл, который он посвятил своей молодости и озаглавил (в отдельном издании) „Радушка“. Менее оригинальные и яркие, чем другие произведения Неверова, эти рассказы очень характерны для настроения автора. В 1920 — 21 г.г., еще в Самаре, переживая ужасы голода, Неверов в этих миниатюрах уходил в уголок своей мечты о любви, о женщине—радости жизни, о прекрасном будущем, когда жизнь станет простой, естественной, свободной от условностей („Человек без одежды“).

Значителен и неосуществленный замысел „Повести о бабах“, из которой Неверов написал лишь несколько глав. В этом произведении он хотел всесторонне изобразить деревенскую женщину, „бабу“, хотел „во всей красоте и величии показать женщину, так несправедливо униженную мужчинами“. Уверенно и красочно рисует Неверов в „Повести“ сцену за сценой, показывая, какой громадный запас наблюдений, еще не выложенных на бумагу, хранился в его памяти, давая ему возможность рассказывать о деревне все новое и новое и не повторяться при описании ее, на первый взгляд такого несложного, жизненного уклада.

Кроме рассказов о любви и женщинах, в 6-й том вошло и несколько рассказов о детях. На ряду с более ранними „Колькой“, „Яшкиной скукой“, могут быть поставлены и такие вещи, как „Большевики“, „Красный сыщик“, „Как у нас война была“.

Будучи тонким художником в изображении детской психологии, Неверов в последнее время попробовал свои силы и в исключительно трудном жанре— рассказов для детей. По тем миниатюркам, которые он успел дать, видно, что и в этой области мы потеряли редкого мастера. В рассказах для детей почти все писатели не могут отделаться от слащавого тона, от

неумелого подделывания под детскую речь. У Неверова этих недостатков нет. Он пишет так, как могли бы писать сами дети. И, что особенно важно, он мыслит так, как мыслят дети трудящихся, дети Советской России. Не даром и темы его рассказов—о Ленине, о революции, о коммуне, о детском доме, об электрификации.

Отметим еще несколько сатирических рассказов Неверова на современный быт (в большинстве случаев написанных для „Крокодила")— таковы: „Дырдоска", „Сильный характер" и „Про него" (о советских чиновниках), и ряд сценок о „мелких недостатках" нашего механизма. Этюд „Царская встреча" любопытен, как единственный у Неверова опыт „исторического рассказа" (на тему о 9-м января). Это, повидимому, последнее его произведение.

Несколько рассказов Неверова не удалось точно датировать, и они помещены в отделе „Произведения неизвестных лет".

Большой интерес представляет неоконченная автобиографическая по настроению повесть „В путь-дорогу" — о крестьянском юноше, рвущемся к просвещению; любопытен рассказ „Изобретатель"—один из немногих, в которых Неверов говорит не о деревне и крестьянах, а выводит героем рабочего, также рвущегося к свету среди тяжелых мещанских условий давящего его семейного быта. Наброски „Из моей жизни" опять переносят нас к тем произведениям Неверова, для которых он черпал материал из эпохи гражданской войны; последняя вещь—„Лагери" (из быта красноармейцев послевоенного периода) — интересна еще и как попытка обратиться к новой форме — отрывочных записей типа дневника.

1923

В САДАХ

1

Небо да солнце.

Цикают кузнецы в траве, глухо падают яблоки. Тучей несется дорожная пыль. Стоит Симон у изгороди, левое ухо оттопырено. Хоть бы кофта белая блеснула в дорожной пыли. Хоть бы голос послышался звонкий. И чайник давно приготовлен и яблоки самые лучшие. Урюк-ягода сохнет в бумажном мешочке, а Маринка не идет.

Змея с черными глазами!

Как больно ужалила. Здесь вот, в шалаше, на бараньем полушубке теплой ночью. Трепыхались сонные птицы в ветвях — трепыхалось Маринкино тело. Шептали шорохи ночные вокруг шалаша — шептала Маринка в Симоново ухо.

И тут целовала, и тут.

Железом горячим жгла, душила руками. И не страшно было Симону умереть в Маринкиных руках, не подумалось.

2

Небо да солнце.

Смотрит Симон на облако с кудрявой головой, не может понять: облако это или Маринка. Кузнецы в траве цикают. Нет, это не кузнецы: Маринка смеется. Яблоко падает с ветки. Нет, это не яблоко: сердце стучит под рубашкой.

Дианка язык высунула, шевелит левым ухом. Правое — лопухом повесила.

Кому теперь чай пить?

Кому в удовольствие яблоки есть?

Опрокинул чайник с кипятком — задымилась трава обожженная, плотно к земле прилегла.. И Симоново сердце — трава обожженная, только на грудь прилечь не к кому, чтобы печаль свою вылить...

Обманула Маринка.

Тени легли под деревьями, трава потемнела. Вечер кошкой ползет, слизывает пыль на дороге. Надевают поля рубаху черную, опоясанную садами зелеными. В монастыре ко всенощной звонят в старый древний колокол. Будут монахи петь строгими лесными голосами, густо запахнет ладаном из старого монастырского кадила. А рядом зеленое кладбище с белыми крестами. В низком дому игуменском с голубыми стенами живет городская коммуна.

— Там Маринка! Больше негде...

Улеглись поля на покой, вздрагивает ветерок, пробираясь деревьями. Яблони переговариваются листьями:

— Ш-ш-ш!

— Ах, окаянная сила!

Если думать больше — можно собакой перескочить через изгородь и бежать без памяти по темному полю в белый мужской монастырь, где живет городская коммуна.

— Там Маринка! Больше негде...

Сидит Симон около шалаша в глубоком раздумьи. Дианка на хозяина смотрит с тайной тревогой. Уши поставлены вилкой. Из тонких холодных ноздрей пахнет острым собачьим теплом.

Дорога к монастырю — пыльными заснувшими полями.

У каменных ворот монастырских Симон и Дианка останавливаются. Сыплют звезды золотым пшеном. Березы монастырские дышат в лицо благостной зеленой тишиной.

Симон говорит голосом смирения своего:

— Я не к Маринке! Праздник завтра, а мне сорок три года...

3

Дианка садится на паперти.

Пахнет воском в притворе, зеленью листьев, тронутых предосенними поцелуями. Древний попик пред царскими вратами игрушечно машет кадилом.

Сладко щекочет ладан в носу.

Медленный сон.

Тихий сон.

Успокаивающий.

Снится господь.

Падает воск нагоревшей слезой.

Плачет господь о грешниках нераскаянных.

Опоясываются свечи слезами господними за плавающих, путешествующих, за блудствующих с женами невенчанными.

Стоит Симон на коленях, обнюхивает половицы.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий! А что если воры заберутся в сады?

Кладет последний крест задрожавшей рукой, пятится к выходу.

В низком дому с голубыми стенами, где живет городская коммуна, — музыка - пьянино. А в музыку-пьянино, словно лента алая в косу русую, вплетается голос Маринки.

— Она! С коммунистами гуляет...

4

Агроному Ескину скучно.

Крепко спит Катерина Марковна на широкой кровати в купеческой даче. Сбилась сорочка под самые груди, обсосанные пятью ребятишками. Трое умерли, двое живы. Рядом на табуретке — зубы золотые, розовые подтяжки.

Все равно Ескину скучно.

В садах поют девки высокими голосами.

Надевает Иван Кондратьич снятый сапог, торопливо застегивает брюки. Смотрит на подтяжки розовые с золотыми зубами, осторожно выходит.

На деревьях — узорные тени.

Узкая дорожка в молодом березняке таинственно раскрывает лунные ворота.

Хочется агроному Ескину пройти лунными воротами в молодость, в девичий смех, в бесшабашное игрище.

Думает.

Одна нога на крылечке, другая — в траве.

Маринку бы увидеть. Увести за большую яблоню, чтобы никто не догадался, и сказать ей взволнованным голосом:

— Марина, я люблю тебя! Делай со мной, что хочешь...

Обязательно надо увидеть.

5

У костра сидят работники губпродкомские: Яков, Давыд и Мелеха. Конюх-татарин с красными просвечивающими ушами потирает руки.

— Девкам хорош, картошкам хорош. Ярар!

Мелеха рассказывает:

— Бабы все одинаковые: две руки, две ноги, а разница и между ними бывает. Которая взглянет — из ружья прострелит, которая кирпич-кирпичем. У меня однажды случай был...

Треплется в зареве костра Мелехина бороденка. Зубы светят играющей улыбкой. Давыд поворачивает картошку в горячей золе, молча плюет на потухающий уголь.

— Длиннее рассказывай! Все, как было...

Яков ползет животом поближе к Мелехе, подбородком ложится на Мелехину ногу.

— Ты, Мелешка, едрена вошка, только не ври больно-то...

Мелеха запахивает пиджачишко.

— Тут нельзя не врать. Если голую факту рассказывать — ничего не получится. С этого и любовь начинается, когда хорошенько соврешь. Нашу бабу щелкай больше по этому месту — нравится. Или за это место хватай покрепче — тоже не будет сердиться. Образованная которая, той обязательно скажи наперед: какая вы интересная! За это слово она тебя в любую подоплеку пустит. Сначала не поверит, а ты ей опять загагулинку сверни. Станет у нее в голове кружиться, тут и бери голыми руками. Положишь совсем — она и глаза вот так:

— Что вы со мной делаете?

Яков дышит в одну ноздрю, залепив пальцем другую.

— А ты откуда знаешь?

— Прахтика!

Из-за деревьев выходит Игнашка с острыми цыганскими глазами, сладко потягивается. За ним ползет Дунярка, отряхивает ситцевую юбку.

— Пришел, Игнаша?

— Здесь.

Яков подталкивает татарина в бок.

— Дуня, яблочки рвала?

— А тебе какое дело?

— Больно ты иньтересная!

Татарин хохочет.

— Эй, Яшкэ, шурум-бурум маленьки не делай! Каюк твой чос. С бабам надо такой язык говорится: миленькай, хорошенькай, беленькай, румяненькай — о!

Вскакивает от костра, хватает Дунярку.

— Пробувай татарскай любовь!

Выходит Анютка, вдова остроносая, упругая, тонкая, с мокрыми от росы волосами под сбитым платком. Кофта расстегнута, юбка подоткнута. Видно рубаху посконную, голые икры.

Мелеха глядит на Анютку прищуренным глазом.

— Ты давно со мной не сидела. Помнишь?

— Скучно около тебя. Сердце некому тронуть...

— Садись, я песню спою.

Анютка ложится головой на Мелехины колени, Мелеха откашливается:

Эх, да не одна в поле дороженька пролегала!
Эх, да не одна...

— подхватывают Яков с Давыдом. Складно выносит Игнашка сытым играющим тенором, врезываются Дунярка с Анюткой тонкими улетающими голосами. И плывет старая песня, в века уходящая. По садам плывет, над деревьями, над сонными травами, над созревшими яблонями с круглыми сосками выставленных яблок — душу тревожит печалью и радостью.

Конюх-татарин крутит головой.

— Ой, ярар!

Сидит на корточках он — далекий и близкий в отсветах пылающего костра, сладко чвокает толстыми обмякшими губами.

— Сердце мало-мало берется!

Гладит шершавым пальцем Анюткину ногу в траве, пожимается. Анютка ногой прямо под носом у татарина дергает.

— Не трогай!

— Нога твой мало-мало глядится...

— А татаркина нога не такая?

— Все такой чуть-чуть: беленькай, маленькай. Ий, я-яй, какой пухлый!

— Брось, гололобый!

— Ой, какой дальше бревно!..

Анютка смеется.

— Ты куда лезешь?

— Мало-мало играться нада. Наш татарка такой сорт пошел: всякай ходи, если глазом любилси... Одна муж не хочет и два муж не хочет...

Яков глядит удивленно.

— Татарин, а нос, как у русского: чует, где сладко лежит.

Давыд откликается:

— Сила большая бабе дана. Скажет любому мужику, у которого охотка есть, чтобы десять верст бежал за ней без передышки — двенадцать пробежит, истинный господь!

— Ты побежишь?

— Нужда приспичит — и поп побежит...

Анютка смеется.

— Дураки-то вы какие, батюшки!

— Это от любви, — говорит Мелеха, обнимая Анютку. — Штука больно сурьезная.

— Ты куда руки суешь?

— Кофта у тебе худая.

— Где?

— Да вот...

— Не хватай, Мелеха, старый ты.

— Я старый, да больно сутяжный. Ни одна женчина не устоит. Скажу такое слово, припаяю, как оловом. Замужняя мужа бросит, незамужняя замуж запросится...

Слушает Анютка Мелехину ворожбу, улыбается теплыми припухшими губами.

— Уйди, я боюсь тебя...

Мелеха неожиданно поднимается.

— Меня любая женчина может полюбить, потому что я больно решительный. Схвачу вот так и айда пошел...

— Ой!

Бьется в руках у Мелехи Анютка, вдова остроносая, с хохотом исчезает в кустах. Шумят деревья потревоженные, глухо ломаются прутики под ногами, и два голоса, как две струны, высоко над садами, вскидывают песню узывающую. Уходит Игнашка с черной соблазнительной головой. Стрижет глазами цыганскими тени бесшумные, ловит острым ухом шорохи украдчивые. Шагает по лунным дорожкам, раздвигая кусты, ищет путаный девичий след...

Маринка! Дьявольская девка!

Веди Игнашку за десять верст.

Веди Игнашку за двадцать верст.

Мучай Игнашкину голову, царапай Игнашкины щеки колючими ветками — найдет...

6

По росистой траве ведет Маринку губпродкомский агроном Иван Кондратьич Ескин теплой утренней зорькой через опытное поле, засеянное губпродкомским горохом. Срывает Маринка стручки левой рукой, весело мнет их острыми смеющимися зубами.

— Ой, какие вкусные!

А Иван Кондратьич Ескин — пиджак у него нараспашку — смотрит на голые Маринкины ноги, вымытые утренней росой, задыхающимся голосом говорит:

— Почему ты, Маринка, не выходишь замуж?

Рвет Маринка стручки левой рукой, глаза лукавые налиты смехом.

— Зачем мне замуж?

— Я бы женился на тебе. Честное слово!

— Ой, какие вкусные!

— Слушай, Маринка, я разведусь с женой ради тебя. Хочешь?

— Хочу.

— Честное слово, я разведусь с женой. Дай руку. Слышишь, как бьется сердце? А у тебя?

Прижимает Иван Кондратьич Маринкины груди и совершенно не помнит, сколько ему лет. Пьяно наклоняется головой вперед, схватывает Маринку обеими руками, щекочет усами Маринкины губы.

— Маринушка, доченька! Горбуленька моя милая!

Голос у Ескина рвется, подбородок дрожит. Ноги в синих заштопанных брюках торопливо подплясывают. Жадно целует Маринкины плечи через потную кофточку, мягко грызет Маринкины уши, вскидывает на плечи себе Маринкины руки.

— Маринушка, доченька! Горбуленька моя милая! Обойми.

Обнимает Маринка Ивана Кондратьевича ленивыми руками, смеется.

— Доволен?

— Нет, нет, не эдак. Крепче обойми. Задуши!

— Жена будет плакать.

— Маринушка, доченька, у меня нет жены. Честное слово, у меня нет жены. Я никого не люблю, кроме тебя...

Становится на колени Иван Кондратьич, задыхаясь целует Маринкины руки.

— Я умру! Маринушка, доченька, я умру...

Маринка смеется.

— Любишь что ли больно?

— Люблю, люблю. Посиди со мной вот тут.

— Трава мокрая, не сяду.

— Сухо, сухо. Я пиджак расстелю.

Стелет Иван Кондратьич пиджак на траву, садится по-турецки, подобрав ноги, руки на груди сложены умоляюще.

— Сядь, Маринушка, сядь!

— Не хочу.

— Почему?

— Дрожишь больно ты. Прощай!

Идет Маринка в подоткнутой юбке губпродкомскими горохами, а Ескин, Иван Кондратьич, тридцати пяти лет, в синих заштопанных брюках сидит по-турецки на разостланном пиджаке. Рядом фуражка с кокардой валяется. Русые волосы — по

ночам их гладит Катерина Марковна, — русые волосы растрепаны. Галстух торчит на боку.

Из полынника выскакивает заяц, бездомный трусишка. Поднимает он в тревоге тонкие уши, долго смотрит на Ивана Кондратьича в большом недоумении.

Иван Кондратьич, сидя в губпродкомском горохе на разостланном пиджаке, смотрит на зайца.

7

Стонет Симоново сердце под рубашкой расстегнутой: то комочком сожмется, то крылом орлиным расправится — бьется невоздержимо. Ходит кровь потревоженная по Симонову телу, ревность пламенная сжимает кулаки узловатые.

— Ведьма!

Насмеялась над Симоном, согрешившим в сорок три года, облизала губы девичьим языком, выпила дьявольскими глазами спокой-тишину и ушла Маринка.

— Погоди!

Не даром Симон жизнь свою опрокинул — так не оставит.

Лежит он в темном соломенном шалаше, сердито плюется. А жизнь перед ним стоит — тихая, безгрешная, весами сорокалетними вывешенная. Хорошо глядит издали семейная жизнь, пахнет заботой хозяйской, ровными днями течет, длинными минутами падает. Сколько ночей проспал с бабой Лукерьей? Сколько раз залезал под дерюгу довольный и сытый, — а этого не было, желанья, мучающего сердце. Подошло оно в сорок три года. Месяцем из-за тучки вылезло, осветило глубину непоказанную, поманило в дорогу неведомую. Легла на глаза бессонница, на сердце легла печаль-тоска. Стоит в лунном свете чужая окаянная девка, бабу Лукерью отталкивает. Словно ветром-бурей ударяет кровь Симону в омраченную голову. Ловит мысленно Маринку он, слышит запах Маринкиного тела тонкими помолодевшими ноздрями, задыхается, стонет, лежит неподвижно.

— Ах, окаянная!

Говорит Дианке, верному другу:

— Увидишь подлую девку Маринку — кусай прямо за ноги. Хлеба будет давать — не бери. По носу погладит — за руку тяпни.

Вышел Симон из шалаша, а перед ним Маринка в белой кофте, как белая береза. Глянула под месяцем черными неудержимыми глазами, протянула руку искушающую.

— Здравствуй, Симон Петрович! С доброй ночью вас.

Чей это голос? Кто Симону желает доброй ночи?

Защемил в кулаке Маринкину руку, спутались мысли горящие в сотни узлов.

— Ты откуда пришла?

— Сердце привело, Симон Петрович.

— Ко мне?

— К тебе.

Глядит под месяцем Симон в Маринкины глаза играющие — сгорает в них злоба, накипевшая в одиночестве.

— Правду говоришь?

— Зачем я буду врать?

— Не ври, я все знаю...

— А чего ты знаешь, Симон Петрович?

— Все знаю. Не ври. Мне надо подумать.

Думает Симон, залитый лунным светом, стоит над шалашом огромная Симонова тень с раскоряченными ногами, тихо по траве ползет, пропадает под яблоней. Маринка в шалаш уползает.

— Стой! — говорит Симон, хватая ее за подол. — Не ходи туда!

— Зачем?

— Ты где была?

Поднимает Маринка подол, будто нечаянно, показывает Симону молодые упругие ноги.

— Ой, какие вы ревнивые мужики! Везде была и опять везде пойду. Кто конторщиком надо мной? Не нужна тебе — другие найдутся...

Гладит Маринка Дианку по холодному носу, украдкой смеется.

Симон кричит:

— Оставь собаку — она тебе не товарищ!

— А зачем ты сердишься, Симон Петрович?

— Я не могу такую игрушку играть. Сама знаешь характер мужской.

Молчат сады. Молча лежат лунные дороги в деревьях, молча смотрит Дианка, настораживая ухо. Глаза лукавые у Маринки налиты смехом.

— Можа, уйти мне, Симон Петрович?

Раздувает Симон ноздрями полосатыми, думает.

Тихо ломаются веточки под ногами невидимыми, грохаются яблоки отяжелевшие.

— Ну прощай! Не нужна тебе любовь моя, мешать не стану.

Хватает Симон Маринку за кофту, сердито кричит:

— Чорт!

Ах, да почему Маринка не грецкий орех! Стиснул бы ее Симон в кулак, раздавил на четыре половинки и выбросил, замученный ревностью.

— Ты любишь меня?

— Кабы не любила — не пришла.

— Правду говори — я все знаю.

— Неужто еще побожиться?

— Лезь в шалаш!

— А яблоков принесешь?

— Принесу.

Тяжело дышать Симону в темном шалаше. Или рубашка душит стянутой петлей, или сердце перевернулось на другую сторону. Грызет Маринка спелую наливную антоновку, шепчет Симону в оглохшие уши:

— Остригись, Симон Петрович, обрейся!

— Зачем?

— Усы твои мешают мне. Поцеловать тебя часто хочу, губы в кустарнике не найдешь.

— Ах, ты, пичужка! Можа, и гайтан велишь снять?

— Ой, не щипись, Симон Петрович!

— Крючков у тебя много на юбке, словно замками заперлась...

— Ты чего хочешь?

— Известно, мужское дело...

— Этого нельзя, Симон Петрович!

— Как нельзя?

— Надо меня спроситься.

Отскакивает в угол Маринка, Симон руками дрожащими шарит.

— Постой, постой! Я этого не хотел... Чашку чайную раздавишь там.

Маринка смеется.

— Уйду я, Симон Петрович, — греха много получается.

— Какого греха?

— Женатый ты.

— А если я не хочу по-женатому жить?

— Венчанный ты, Симон Петрович, — нельзя.

— А если я все венцы сломаю из-за тебя?

— И бороду острижешь?

Симон молчит.

Ах, окаянная девка! Обязательно снимет рубашку с него. Пустит голышом, заставит конфуз принять... Говорит покорным голосом Симон:

— Нехорошо без бороды в моих летах — не молоденький я.

— Я молодым сделаю.

— Как?

— Капли есть такие...

— Обнимешь что ли?

Смеется Маринка над Симоном в сорок три года, не подпускает к себе. Сидит рядом, а борода забором высоким отгораживает. Слышит голос Маринкин, чует ноги Маринкины Симон — тронуть Маринку нельзя: надо спроситься. Сама пришла в шалаш, а Симон не хозяин над ней. Нет у Симона смелости схватить ее, непокорную. Нет у Симона силы переломить Маринку тонким прутиком. Тронет колена ей, она пожимается. Вытянет руки, чтобы обнять — она вырывается.

— Не надо, Симон Петрович, я закричу!

— Ты зачем пришла ко мне? — спрашивает Симон рассерженным голосом.

— Поглядеться.

— Какая сласть от этого?

— Сделай, как велю, сладко будет...

Молчит Симон в тяжелом раздумьи, гладит бороду дрогнувшими пальцами.

— Говори!

— Не люблю я мужиков бородастых.

— Каких тебе надо?..

— Бритые лучше...

Чувствует Симон гибель свою, видит бороду снятую, голый подбородок, изрезанный морщинами. Длинные волосы, взлелеянные костяным гребешком, скошены ножницами, вылизаны бритвой. Степенные рыжие волосы с темным отливом брошены в мусорный ящик.

— Этого нельзя сделать, Маринка. Дура ты!

— Значит, не любишь меня?

— А зачем тебе борода мешает?

— Волосы лезут в рот.

Сидит Симон с Маринкой в темном шалаше, тихо разговаривают.

Рядом Маринка, только бы рукой обнять, положить на полушубок бараний, где прыгают бойкие блохи, — борода мешает. Если насильно сделать—закричит Маринка. Прибегут работники из губпродкомского совхоза, прибежит агроном Иван Кондратьич. Узнают в коммуне городской и попы с монахами, весь город узнает. Станут показывать пальцами.

— Вот, вот!

— С бабой невенчанной спал!..

Поднимается Симон сутулый, лезет из шалаша на четвереньках.

Маринка хватает его за подол.

— Куда ползешь?

Вылез Симон наполовину, задумался.

Борода под месяцем светит, ноги в шалаше торчат.

Легла Маринка на спину Симону, обняла горячими руками, насквозь проколола девичьим телом, шепчет:

— Золото мое колечко, сахар-изумруд!..

Завертелась земля под Симоном, зашумели сады потревоженные, посыпались звезды, колесом кувыркнулся месяц.

— Ах, ты, ведьма-баба! Какую силу имеет над человеком.

Обернулся Симон, схватил Маринку—громко Дианка залаяла. Бросилась от шалаша, завертела хвостом обрадованно: баба Лукерья пришла, пирогов принесла Симону в белой тряпичке.

— Ты где, отец?

Глядит Симон мутными, непонимающими глазами, вертит бородой. То в шалаш уползет задом, то из шалаша лезет, вытаскивая ноги.

— Али мочи нет?

— Стой, не лезь сюда!

Наклоняется Лукерья, Симон руками растопыренными загораживает узенький проход.

— Сиди вот тут!

Грызет Маринка антоновку спелую в шалаше, беззвучно смеется.

Девки песни поют высокими голосами, слышится голос Игнашкин.

Ищет Игнашка Маринку пропавшую.

Бродит по лунным дорожкам, пропадает в тени за деревьями. Свищет, аукает, ломает сучки под ногами.

Говорит Симон Лукерье сердито:

— Зачем ты дом бросила в такое время?

— Ночевать пришла к тебе...

— Этого нельзя сделать.

— Почему?

— Разве можно дом бросать без призору? Сломают замок— утащат...

— Ну, кто залезет! Соскучилась я об тебе...

— Иди, иди, я нынче сон нехороший видел...

— Какой?

Маринка кашляет.

Симон сидит пораженный, повернув голову через плечо, смотрит на темный проход в шалаше.

Лукерья слегка поднимается.

— Это кто, отец?

Симон молчит.

Молчат сады.

Молча лежат лунные дороги в деревьях.

Молча смотрит Дианка умными, настороженными глазами.

Опять кашляет Маринка в шалаше.

Лукерья головой лезет в темный проход, Симон хватает ее за плечо.

— Постой! Человек там лежит.

— Какой человек?

— Этого тебе не приходится знать.

Чует Лукерьино сердце соперницу, спрятанную в шалаше, руки становятся длинными. Ноги на умятой траве бойко подплясывают, праздничный платок с головы сползает. Лезет в бороду Симону Лукерья длинными руками, хочет в озлобленьи схватить за рыжие волосы с темным отливом.

Ловит Симон Лукерью за длинные руки, бьет по шее тяжелым кулаком.

Падает на колени Лукерья, опять поднимается.

— Ты что надо мной делаешь?

— Ничего.

— Значит не нужна я тебе?

Срывает Симóн праздничный платок с Лукерьиной головы, громко кричит:

— Ты мне не мешай, когда я сам желаю. А ежели того ты хочешь—уходи... Будет—пожили...

Тут и Лукерья закричала. Хотел еще ударить ее Симон— из шалаша Маринка вылезла. Стоит в белой кофте, как белая береза, удивляется:

— Ай-яй-яй!

— Тебя не касается, — говорит Симон Маринке. — У нас обоюдное дело.

А Маринка головой качает:

— Не хотела я, Симон Петрович, вашего скандалу вот настолько. Не для того приходила. Разве можно жену свою бить?

Слушает Симон голос далекий и не может понять, где раздается он. Глядят на него под месяцем черные Маринкины глаза, а саму Маринку не видать. Хотел схватить в жестокой обиде — увернулась.

— Не протягивай руки, Симон Петрович, я к этому не привыкла.

Полыснула словом нехорошим Маринка Симоново сердце, разожгла гневом огненным. Размахнулся он, чтобы пригвоздить ее тяжелым кулаком, сзади Игнашка ударил молодым играющим голосом:

— Дядя Симон, здорово!

Выпала сила богатырская из Симонова кулака, мертвым опустился кулак вдоль ноги, а нога чуть-чуть задрожала.

— Дядя Симон, нет ли у тебя огонька на папироску?

Шарит Симон коробок в шалаше, долго не выходит.

— Есть или нет?

— Нет!—глухо отвечает Симон, вытянув ноги из прохода.

Маринка смеется.

— Потухло.

— А ты зачем приходила?

— Яблочки ела.

— Или замуж выходишь за него?

— Нельзя за него, в семейном положении находится он...

Лежит Симон вниз животом, будто спички ищет, зубами тихонько поскрипывает. Когда вылазит из шалаша, два голоса молодых, как две струны, взвиваются над садами уснувшими:

Не велят Маше за реченьку ходить,
Эх, да не велят Маше молодчика любить!

Это Игнашка уводит Маринку по лунной дороге от темного шалаша.

И Лукерьи нет.

Только пирог лежит, завернутый в белую тряпичку, да Дианка смотрит умными настороженными глазами. Вытащил Симон пирог из белой тряпички, понюхал — капустой пахнет: самый любимый пирог. Только для Симона и пекла Лукерья такие пироги на подсолнечном масле, с зарумяненной коркой.

Ах, окаянная девка!

Любимый пирог сделала противным.

Всю жизнь семейную слизала дьявольским языком.

Если за Лукерьей бежать, чтобы вернулась—сады оставить нельзя: воры. Если на яблоню высокую залезть, чтобы тоску свою грохнуть оттуда—убиться можно. А Симону не хочется умирать без покаянья. Грешник он большой. Закружил его бес в образе девичьем, осквернил душу сорокатрехлетнюю, вывернул наизнанку.

— Тьфу!

Бросил Симон любимый пирог с капустой через Дианку в темную гущу деревьев, громко сказал:

— Господи, прости мое великое согрешенье!

ПОЛЬКА-МАЗУРКА

1

На станции Гурьяну попалась бабенка: тоненькая, остроносая, ноги на высоких каблуках. Идет, будто на ходулях, и все подрыгивает, из стороны в сторону покачивается. Поглядела на Гурьяна круглыми воробьиными глазами—сразу и пришпилила на все четыре кнопки. С места сдвинуться не может Гурьян. Глядит ей в веселый, играющий зад, обтянутый узенькой юбкой, слова в нутро провалились. А она, шишига, опять мимо прошла, опять задела Гурьяна круглыми воробьиными глазами.

— Вы, товарищ, не из деревни будете?

Покосился Гурьян, оттопыривая губу, лицо сделал будто сердитым.

— Ну, и что же такое?

— Можа, довезете меня?

— С багажом или порожняя?

— Багаж у меня незначительный.

— Та-а-ак!

Больше и сказать не сумел Гурьян. Врезалась бабенка в самое сердце — сразу бы проглотил вместе с ботинками на высоких каблуках. Очень уж сложеньем увлекательная. Говорит, сама зубы показывает, нарочно подкашливает, отряхивается, волосья на голове поправляет. Как не посадишь такую пичужку?

— Ладно, довезу. Сколько заплатишь?

— А вы сколько намерены взять?

— Больше давайте, годится.

Она улыбается.

— Какой вы неуважительный, товарищ! Женщину нужно бесплатно довезти.

Растопырил ноги Гурьян, думает:

— Чего получится, если на самом деле дармá посадить?

Поглядел в глаза воробьиные, неожиданно сказал:

— До какого села?

— До Романова.

— Романово за нами пятнадцать верст!

— Там пешком дойду, если попутчика не найдется...

— По какому делу туда?

— Мама живет, повидаться хочу...

Завлек Гурьяна голосишка бабий, иголкой тоненькой пролез в нутро, и глаза воробьиные заволокли хозяйские мысли.

— Чего с тобой делать? Садись!

Тащит бабенка сундучок, гнется под ним, ногами семенит, юбкой узенькой разные буквы пишет между коленками.

— Ох, товарищ, помогите на минуточку!

Вскинул Гурьян сундучок воробышком на плечо, улыбается.

— Чего еще там у тебя? Давай в эту руку!

— Какой вы сильный!

— А что?

— Я не подниму.

— Слабый вы народ из городов — кишкой тонки!

— Как?

— Шучу. Двадцать фунтов в сурьез принимаете...

С этого и началась Гурьянова тоска. Уставил сундучок в телегу, пологом накрыл, чтобы пыль не приставала. Вытащил чапан из-под соломы, расстелил, будто жене-молодушке, ласково приговаривает:

— Наверно, мягко любите сидеть—не наш брат!

— Ничего подобного, я к этому не избалована, сама из крестьянского происхожденья.

— Все-таки другая сословья у вас!

— Ну, скажите! Если костюм на мне городской, нынче и в деревнях такая мода пошла. Вообще, на это не надо внимания обращать.

Ходит Гурьян вокруг лошади, дугу поправляет, поперешник подтягивает. Почесал гриву у мерина, в морду кулаком сунул, чтобы веселее держался, сам все думает:

— Интересная штука может получиться!

Бабенка тоже охорашивается, гребешки в волосы втыкает, глазами косит, платочек беленький на два узелка завязывает.

— Вы, товарищ, курящий?

Выплеснул Гурьян из левой ноздри, вытер пальцы о наклеску, крякнул:

— Хорошенького можно.

— Пожалуйста, вам папироску!

И сама дымок пустила через обе ноздри.

— Эге!

Совсем не хозяином стал Гурьян.

Вытянула бабенка ноги в ботинках, заняла всю телегу. А ботинки у нее, как у мужика, с голенищами до самых коленок, на голенищах пуговки в два ряда, тесемочкой перевязаны. Негде сесть Гурьяну! Рядом неловко. Хотел на наклеске устроиться, чтобы поглядеть, какая из этого штука получится, а бабенка говорит:

— Вы, товарищ, напрасно там садитесь! Разве не хватит нам места двоим?

Проклятая! Гурьян ее посадил, она же Гурьяну командует. И ссунуть теперь у Гурьяна силы не хватит. Глядит он словно в тумане, во всем теле озноб начинается. Зачем она рядом сажает? И ноги вытянула, будто на кровати. Кабы не случилось чего! Не вытерпит Гурьян и дотронется до этой ботинки. Любовь которая, она не разбирает, а у Гурьяна на любовь похоже. Вдовый он, к тому же революция нынче: понравился человек, и живи, сколько хочешь, невенчанным...

— Товарищ, чего вы стесняетесь?

Сел Гурьян бочком, пожимается. Одна нога в телеге, рядом с ботинкой, другая — через наклеску висит. Страшно обе ноги класть.

А бабенка зубы скалит:

— Товарищ, да вы, ей-богу, напрасно так садитесь! Давайте сюда эту ногу!

Не успел Гурьян и подумать хорошенько, что из этого может получиться, а она Гурьянову ногу теребит, горячих углей под сиденье подкладывает. Загорелась Гурьянова нога, вспыхнуло все тело. На второй версте Гурьян закружил вожжу на наклеску, бросил в ноги фуражку с подпотевшей головы.

— Вам жарко, товарищ?

— Народ вы больно необышный!

— Почему?

— К примеру теперь, и ботинки у вас в городах на сапоги похожи.

— Мода такая.

— Чудно!

Тронул Гурьян голенище подплясывающим пальцем, надавил пуговку на голенище покрепче, чувствуя, что сейчас он провалится сквозь землю, и вдруг неестественно громко закричал:

— Сколько стоит такая штука?

Бабенка не рассердилась, только юбкой чуть-чуть пошевелила.

— Вы женатый?

— По какому случаю вам нужно знать?

— Разве секрет?

— Бывает иногда!

— Я вот не скрою, если не замужняя. Пожалуйста!

Глянул Гурьян сбоку на русую овечью кудерку, выпавшую из-под беленького платочка, сразу выпустил весь воздух, распирающий грудь.

— Вдовый!

— Почему не женитесь?

Ударил Гурьян мерина кнутовищем по костлявому заду, крякнул, распутал вожжу на наклеске, опять замотал. Окинул тревожными глазами поле, узенький проселок, по которому прыгала тележонка, увидал около своей ноги другую ногу в городском, подзывающем ботинке, неожиданно сказал:

— Я когда-то хорошо жил: две лошади было у меня, корова с подтелком, восемь овец и масла с яйцами невпроед. Чаю захочу, простого не пил: каждый раз с топленым молоком. И жена покойная не жаловалась на мой характер. У людей

которых нет ничего, у нее—платье за платьем, потому что я не скупился на это. Умирала она, говорила мне: ты, говорит, Гурьян, не мучай себя: найди подходящую женщину и женись через сорок дней после моей смерти...

— Давно она умерла?

— Год скоро будет!

— И вы не женились?

— Тут, видишь, какая штука! — задумчиво сказал Гурьян.— Три бабы находилось для меня, ну, я испорченный маленько стал: не нравится, да и на тебе. Одна, понимаешь, сама напрашивалась, в дом ходила, чтобы соблазнить, а я не хочу. Люблю, чтобы расположение было к этой женщине, обоюдное согласье...

Поглядела бабенка на Гурьяна круглыми воробьиными глазами, вздохнула и вдруг легла на спину.

— Какую вам женщину надо?

Гурьян отвернулся. Оглядел переднее колесо, свесив голову через наклеску, плюнул, опять взглянул на вытянутые ноги.

— Тут сразу не скажешь!

— Почему?

— Точка выходит, сурьезная штука...

А бабенка подвинулась ближе.

— Вот не женитесь, и рубашка у вас нестиранная. Разве вы старик?

— А ты откуда знаешь?

— Ну, какой старик! Это же по лицу видно. Поставь вас в хорошую жизнь, чтобы жена наблюдала по вашему характеру, тогда и не похожи будете на теперешнего человека.

Гурьяну стало душно.

Руки ослабли.

Мерин в оглоблях будто оторвался от земли, плыл по воздуху, уронив левое ухо, и сам Гурьян с нелепой улыбкой на губах будто растаял в синем играющем воздухе. Мельком увидел маленький не бабий живот бугорком под ситцевым платьем, осторожно подумал:

— Она, наверно, играет со мной!

Выпрыгнула бабенка из телеги, весело крикнула:

— Назад не оглядывайся!

— Зачем?

— Не полагается вашему брату.

— Играет! — опять подумал Гурьян. — Сейчас дотронусь до нее, будто нечаянно...

А бабенка сзади окликивает:

— Товарищ, почему вы не остановите лошадь? Я же не догоню.

Повернул Гурьян голову назад, встретился с круглыми воробьиными глазами. Ударили они в Гурьяново сердце мелким играющим огоньком, будто два ружья мелкой охотничьей дробью.

— Ну, конечно, играет!

— Какой вы недогадливый, товарищ!

— Тпру! Седай скорее.

— Да я не влезу отсюда!

— Ах, ты, мать честная!

Прыгнул Гурьян через наклеску, подхватил бабенку легким перышком, вскинул, стиснул.

— Ой!

Наступила тьма.

И в этой тьме посыпались искры разные, и в одну минуту сгорел мерин с телегой, сундучок под пологом, тучки полевые, вся земля, и все люди на земле. Осталась только бабенка в крепких пылающих руках. Посадил Гурьян на телегу ее, глянул в лицо дымными глазами, тихонько сказал:

— Не бойся!

И еще говорил: о двух лошадях, о корове с подтелком, о том, что ему нужно жениться, и нет никакого греха тут, если по-новому взять. Надо только, чтобы человек человеку понравился, а она ему страсть как нравится, потому что никогда он не видал такой женщины, к которой расположенье имеет. Потребуется ей, он и в Романово увезет, и в город обратно доставит, если дело какое осталось там...

Улыбнулась бабенка, заиграла глазами.

— Вы мне очень нравитесь!

— Чем?

— И лицом и характером.

— На лицо не гляди! — сказал Гурьян деловито. — С лица никогда не разглядишь настоящего человека, особенно в крестьянском положеньи. Грязный мы народ, с землей важдаемся. Писаря которые, те беленькие, на бумагах сидят.

Опять улыбнулась она.

— Я писарей не люблю!

Гурьян восторженно подхватил:

— Ты не любишь, а я терпеть не могу!

— Почему?

— Линия другая у них. Если замуж желательно выходить, к примеру, за непьющего человека, живущего в домашнем удовольствии, кого хошь выбирай, только не писаря: пьяница на пьянице, и в грудях у каждого чихотка сидит.

Ехали.

Или дорога под гору пошла, или мерину легче стало: все порывался бежать он, дергая телегу, а бабенка в беленьком платочке останавливала его за вожжу, по-хозяйски уговаривала:

— Стой, стой, кочки тут!

Гурьян не перечил. Пусть правит. Можа, и к нему через это привыкнет скорее. Когда выбрались на торную, укатанную дорогу, взяла бабенка ременный кнут на длинном кнутовище, ласково сказала:

— Можно ударить вашу лошадь?

— Айда вали!

— Чего-то жалко...

— Для вашего удовольствия можно!..

Без ножа режет любовь каждого человека, зарезала она и Гурьяна, сделала покорным, улыбающимся широкой неестественной улыбкой. Скажет теперь пассажирка ему: „Слезь, я одна посижу!“ — слезет. — „Иди вдоль оглобли!“ — пойдет. А все ботинки виноваты с узенькой юбкой и русая овечья кудерка на лбу. Наклонился к бабенке, тревожно шепнул:

— Хочешь, потешу тебя для нашего знакомства?

— Как?

Подобрал Гурьян распущенные вожжи, встал на колени, свистнул, гикнул, неистово закричал:

— Малышка, грабют!

Дернулась телега, будто в воздух поднялась, завертелась поднятая пыль, загремели колеса с лубками, попадали назад мимо бегущие десятины. Мерин вытянулся, приложил уши, дробно застучал задними ногами в передок, а Гурьян, стоя на коленях, с растрепанной головой, взмахивая руками, неистово кричал пьяным разыгравшимся голосом:

— Малышка, выручай!

Обогнали пешехода, испуганно свернувшего в сторону, обогнали телегу со спящим мужиком, врезались в посевы, запрыгали по бороздам, готовые сломать деревянные оси. Бабенка, причина любви, испуганно держала Гурьяна за левую руку и вдруг обняла Гурьяна около самых подмышек. Сама обняла, не вытерпела.

— Гурьян Никанорыч, у меня головокруженье.

Глянул Гурьян в глазенки испуганные, увидал любовь промелькнувшую, бросил вожжи.

— Стой, Малышка, будет!

Мерин остановился.

Тогда Гурьян сказал бабенке:

— Чего еще велишь?

— А чего вы можете сделать?

— Все могу, если в сурьез дело пошло...

Бабенка прижалась к нему головой.

— Какой вы хороший!

Больше Гурьян ничего не помнит. Как во сне, просил ее выйти за него замуж, рассказал, что он бездетный, что у него скоро умрет мать-старуха, и станут они жить вдвоем. Как во сне, видел Гурьян мелкие смеющиеся зубы, ласково-веселые глаза, городские ботинки на высоких каблуках и все хотел обнять их, стиснуть, переломить и заплакать над ними, а она, как во сне, била его по рукам, смеялась, грозила тоненьким пальцем:

— Нель-зя!

Наконец, уставшая от игры, сказала спокойно:

— Хорошо, Гурьян Никанорыч, я подумаю. Но, прежде чем выйти замуж за вас, я погляжу, как вы живете. Согласны?

Гурьян согласился...

2

Дома встретила старуха в черном платочке. Взглянула на мерина с перетянутыми боками, на Гурьяна помолодевшего. Увидя бабенку незнакомую, недружелюбно подумала:

— Какую лихоманку привез — лошадь перегнал, дурак!

А бабенка будто выросла на этом месте. Соскочила с телеги, ударила руками по юбке, стряхивая пыль, ласково заглянула в лицо.

— Здравствуй, бабонька, как поживаете?

Гурьян улыбался.

Шаги у него были веселые, легкие. Похлопал он мерина, выводя из оглобель, отпугнул петуха, вскочившего на телегу, оглядел хозяйство сытыми заигравшими глазами. Посадил сундучок на плечо, громко сказал:

— Ну, мама, ставляй самовар теперь, чайничать будем!

— А сахару где возьмешь?

— Сахар найдется! — сказала бабенка.

Опять Гурьян улыбался.

Старуха дивилась.

Тоненькая, чужая бабенка, заехавшая с дороги, имела над сыном какую-то власть, распоряжалась, как мужем. Ходила под сараем с ним, все выглядывала, во все пролезала тоненькой змейкой, спрашивала:

— Это ваше?

— А это?

Гурьян только улыбался, будто глупенький, и перечить не мог. Перед чаем бабенка вынула полотенце из сундучка, жестяную коробочку с мылом, ласково сказала:

— Я умыться хочу, Гурьян Никанорыч!

Гурьян принес ведро воды из сеней и сам стоял с ковшом над лоханью, поливал ей на руки, а она мылась долго: терла за шеей, ковыряла в ушах, со смехом говорила Гурьяну:

— Не лей сразу!

— Дай еще!

— Лей побольше!

— Не балвай!

Но и это не страшно.

Удивил сам Гурьян.

Когда бабенка сказала ему: „Вам тоже умыться надо, Гурьян Никанорыч!“ — он засучил рукава у рубашки, перегнулся над лоханью, растопыривая ноги, а она, поливая на руки ему, опять говорила:

— Шею мойте, шею!

— Вот тут, за ушами потрите!

— Мыльте хорошенько, не бойтесь!

Долго фыркал Гурьян, расплескивая воду, спрашивал:

— Будет что ли?

— Мойте, мойте чище!

— Больно хороший буду!

А про себя тихонько посмеивался:

— Бес! Заставила умываться, словно суббота пришла...

Хотел остаться в грязной рубашке, бабенка и тут поперек пошла:

— Неужто у вас и рубашек больше нет?

— Почему нет? — обиделся Гурьян.

— Ну, оденьтесь почище, чтобы я вас другим человеком увидела.

Гурьян улыбнулся, показывая глазами на мать, но тут же выволок сундук из-под кровати, вышел на минуточку в сени и пришел из сеней в розовой шумящей рубахе, в черных миликсиновых штанах, высоко подпоясанный узеньким пояском.

— Вот и я такой. Здравствуйте!

Бабенка ударила его по руке.

Оба засмеялись.

Старуха враждебно молчала. Не нравилась ей тоненькая вертушка: чай пила она не с блюдечка, а прямо из чашки маленькими глотками, спрашивала, нет ли у них чайной ложки, почему нет, дрыгала ногой под столом, насмешливо оглядывала и ее, старуху, и старую мужицкую избу, почерневшую от долгих темных лет. Изба — настоящая изба: большая, с двумя скамейками вдоль стен. На кровати подушки в серых наволоках, полосатая дерюга, вместо одеяла, и старая дубленая шуба, вывороченная шерстью наружу. Настоящая крестьянская кровать! В почерневшем углу множество икон, синяя

лампадка, поминанье, огарок свечи, пучок засохшей вербы. Все, как у хороших людей.

А бабенка недовольная осталась и за чаем говорила Гурьяну:

— Изба мне не нравится! Надо завести другой порядок в ней. Вы религиозный?

— По какому случаю?

— Икон очень много у вас.

— Мама молится на них.

— А вы?

— Бывает, и мы молимся...

— А почему у вас картинок нет на стенах? А зѐркала? А цветов на окнах? И занавесок не видно. Разве так дорого?

— Это уж по женскому делу!—улыбался Гурьян. — Можно сделать...

Он чувствовал себя неловко в розовой шумящей рубахе. Мать, наверно, не догадывается, какая тут причина, и люди, если заявятся, не поймут, почему Гурьян сидит словно на празднике с расчесанной головой. Выпил он три чашки густого морковного чаю, перед четвертой откашлялся. Крякнул, поглядел на бабенку.

— Мама!

Наступила тишина.

С потолка прямо в чайное блюдечко упал таракан.

— Во чорт! — подумал Гурьян. — Не мог в другое время упасть.

Ухватил он таракана за длинный шевелящийся ус, наклонился. Неторопко положил под сапог, неторопко раздавил таракана сапогом.

— Мама, я женюсь!

— Где?

— Вот здесь, на этой женщине.

Старуха опрокинула чайную чашку вверх донышком, выплюнула неразжеванный кусочек сахару из зубов, ушла в чулан обиженная.

Гурьян сказал, успокаивая невесту:

— Ты не гляди на нее, со мной будешь жить!..

Бабенка не беспокоилась. После чаю она не стала молиться в передний угол, не молился в этот раз и Гурьян. Она прислонилась спиной к косяку, положила нога на ногу, закуривая папироску, он осторожно шепнул:

— Курить-то бы не надо пока!

— Почему?

— Не принято в нашем положеньи, чтобы бабы курили.

Бабенка и нос кверху подняла.

— Это меня не касается!..

Дымок, пущенный под иконы, совсем выгнал старуху из избы. Поглядела она на погибшего сына, покачала головой, сильно хлопнула дверью. Гурьян немножко расстроился, а бабенка внимания не обращает, будто совсем не видит Гурьяновы морщины на лбу. Села на кровать, покачивается.

— Кровать у вас очень неряшливая!

— Какая есть!—глухо ответил Гурьян.

— Идите сюда!

— Днем я не лягу...

— Почему?

— Потому что не хорошо получится...

Она засмеялась.

— Чудной вы человек! Разве я ложиться заставляю? Мне просто нужно поговорить с вами.

— Говорить можно отсюда.

— А я хочу здесь!

Бывает это с человеком, который любит. Не колдовала на траву бабенка и в воду не глядела, а Гурьян опять не помнит, как подошел к кровати. Долго упирался, разговаривая от стола, и все-таки не вытерпел. Очень уж голосишка проникающий. Связал он Гурьяна по рукам и ногам, и нет никакой силы отделаться от него. Сначала рядом сел Гурьян, потом очутился в лежачем положении и ее все уговаривал, чтобы легла, но она только рукой погладила его, будто маленького.

— Вы отвезете меня домой сегодня?

— Угу!..

— И опять приедете ко мне?

— Угу!..

— Когда?

— Когда велишь.

— Через три дня!

— Можно и через три...

Минут двадцать пил Гурьян сладкую отраву, напился, опьянился, и опять, как дорогой, ничего ему не было жалко. И опять, как дорогой, сгорела вся изба с почерневшими иконами, и старые хозяйские заботы. Вошла вдова Мокеева, которая соблазняла Гурьяна на замужество, а Гурьян и не смотрит на нее.

— Чего нужно?

— Ничего не нужно.

Повернулась Мокеева, Гурьян ругается:

— Черти, шатаются каждый раз!..

— Кто это?

— Та самая.

— Нравится она вам?

Гурьян усмехнулся.

— Чего в ней хорошего! Мне теперь никто не нравится, окромя тебя.

Хотел он бабенку схватить, а она с кровати вскочила.

— Не надо, Гурьян Никанорыч, я не люблю эдак!..

— А чего стесняться нам?..

— Нет, нет, не нужно...

Вошла старуха-мать, Гурьян не стесняется: держит бабенку за руку около печки, гладит по спине широкой вымытой ладонью. Лицом неузнаваемый стал и глазами совсем не похож на прежнего Гурьяна. Потом будто проснулся от тяжелого сна, крепко вздохнул.

— Ну, ехать, так ехать, пока не поздно...

Вышла мать на двор, Гурьян мерина ставит в оглобли, даже отдохнуть не дал ему.

— Куда еще собираешься?—крикнула старуха.

Гурьян не ответил. Настелил соломки в телегу помягче, сверху дерюгой покрыл, вынес сундучок из избы, перехлестнул веревочкой, чтобы краями не стукался.

— Ну, лезай!

Села бабенка, улыбается. Поправила платок на голове, ласково старухе кивнула:

— До свиданья, бабонька, будьте здоровы!

Старуха отвернулась, поджимая сухие, изношенные губы.

— Поезжай с богом, черти тебя накачали на нашу шею!..

Отворил Гурьян ворота, взглянул точно в последний раз на хозяйство, подумал. Подобрал деревянную лопату, поставил в угол. Поднял запорку от ворот, положил на крыльцо.

— Мама, борону никому не давай, завтра я сам поеду в поле!..

Потом нахлобучил картуз пониже, нехотя полез в телегу, и в розовой шумящей рубахе, в черных миликсиновых штанах повез бабенку в будний рабочий день до Романова села за пятнадцать верст. В улице на него глянули мужики с бабами, молодые, затосковавшие вдовы. Все окошки уставились, все избенки повернулись лицом к нему, и каждая избенка будто кричала вслед:

— Гляди, гляди, невесту повез!..

Хлестнул Гурьян мерина под задние ноги, рассердился, еще раз хлестнул и шумно, пугая собак с ребятишками, проскакал в околицу, будто не здешний. Мысленно осуждая себя, разглядывал бабенку потухшими глазами:

— Интересная штука! Люди работают, а я разъезжаю, чорт!

Совсем было расстроился, а она в лицо заглянула.

— Гурьян Никанорыч, почему вы такой невеселый?

Молчит.

— Давайте шагом поедем!

Опять молчит.

— Куда вы торопитесь?

Гурьян завозился.

— Чудное дело! У меня хозяйство стоит...

— А почему вы меня по имени не зовете ни разу?

— Когда?

— Все время, как познакомилась с вами...

Смешно стало Гурьяну, обмяк.

— От-ты грех-то еще! Ты же сама не говорила, как тебя зовут.

И она улыбнулась, вскидывая глазком на него.

— Меня зовут То-о-ней. Эх, вы!..

— Постой, не балвай. Я, кажется, сундук давеча не запер. Уйдет мама из избы, неприятность может случиться...

Гурьян вдруг наморщился, потемнел и даже вожжи натянул, останавливая мерина. Подумал:

— Ну да, не запер!

Плюнул через Тонину голову, обиженно сказал:

— Мучаешь ты меня здорово! Другой бы человек ни за что не сделал на моем месте, как я делаю, а я вроде дурачка теперь. Со станции задаром вез и опять задаром везу, целый день кружусь... Или у меня характер бестолковый, или ты сделала чего-нибудь со мной. По совести сказать, ты ведь совсем не подходишь для меня. Ежели рассердиться мне да ударить тебя—чего получится?

Тоня чуть-чуть отодвинулась.

— Ты не бойся! — сказал Гурьян. — Я к примеру говорю: очень сложеньем ты слабая...

Она улыбается.

— Вот не такая, а нравлюсь вам.

— Это верно!—согласился Гурьян.

— И чего скажу, будете по-моему делать?

— Как по-твоему?

— Чай, не сделаете?

— Ну, говори.

— Если я скажу: „Гурьян Никанорыч, привези кизяков возок!“— откажешься?

— Это другое дело.

— А муки пуд не привезешь, чтобы пирогом хорошим угостить тебя?

Гурьян засмеялся.

— Ну, и цыганка ты, видать! Постой, сожму хорошенько...

— Ой, не надо!..

— Для тебя и еду за пятнадцать верст, должна понимать. Я не про это говорю. Для работы маленько трудно будет тебе с непривычки после города.

Тогда она начала говорить серьезно: и лицом ей нравится Гурьян, и характером, а как живет, да как работает—не очень нравится: теперь так не живут, по-другому начинают. Мужик он не старый, бывал на войне, видел кое-что, а изба у него



грязная, и сам он грязный, книжек не держит, ничем не интересуется, кроме черной работы. Давеча она нарочно поглядела в шкафчик, думала, книжки там, а в шкафчике чашки немытые стоят, да мертвые, сухие тараканы валяются. Думал ли об этом Гурьян когда-нибудь?

Гурьян, застигнутый врасплох, откровенно сознался:

— Когда же мне думать?

— А дальше как будете жить?

Гурьян отвернулся.

— Здорово допрашивает, будто в трибунале...

И тоже спросил:

— Зачем это нужно?

— Потому что сватаете вы. Не могу же я выйти за вас, если вы не измените свою жизнь. Какая мне радость в грязной избе сидеть? Это наперед говорю, в грязной избе я не согласна. И себя ломать на работе, как вы ломаете без толку, тоже не хочу...

Замолчали.

Гурьян поглядел на солнышко, на короткие предвечерние тени, бегущие стороной вдоль телеги, тронул мерина вожжей, тихонько подумал:

— Здорово я спутался с ней, ни к чему!..

3

Возвращался он из Романова поздно ночью.

Мерин с перетянутыми боками часто разевал голодный рот, оттопыривая хвост, шел усталым шагом. Не прихватил ему хозяин кормецу из дому, думал, там накормят, но мерину ничего не попало в гостях у Тони. Уж очень в бедном положеньи оказалась Тонина мать. Даже двора нет. Избенка маленькая, в два окошка на переулок, потолок низенький. Есть за избенкой хлевушок куриный, но в дверь туда только поросенку пролезть.

Самому Гурьяну было лучше.

Сидел он за столом в розовой шумящей рубахе, много выпил чаю и уже не хотел когда, а Тоня опять подливала ему, ласково упрашивала:

— Да, Гурьян Никанорыч, да выпейте еще стаканчик!

Жарко было Гурьяну, утирался прямо рукавом розовой рубахи и все-таки пил, и не было силы из-за стола подняться. Словно гвоздем пришила Тоня к этому месту, и сама рядом сидела и ногу ему тихонько трогала коленкой, будто нечаянно. Поднялся Гурьян через силу, вспомнил мерина голодного около окошка в переулке, но Тоня и тут покорила любовью.

— Куда вы торопитесь? Лошадь не человек, потерпит. Мама, свари ему пару яиц. Знаешь, мама, какой он добрый? Никто на станции не сажал, а он посадил бесплатно и сюда вот привез...

Тонина мать тоже угощала Гурьяна, будто ближнего родственника:

— Кушай, миленький, кушай! Дай бог тебе здоровья за это...

Гурьян сидел, как в чаду. Крякал, поглядывал на мерина из окна, грызущего наклеску голодными зубами, думал:

— Сейчас уеду. Разве можно лошадь морить?

Досадно и на Тоню было. Неужто только и чаем за это поит, что он бесплатно привез? Где же любовь? Куда остальное пошло? Почему она не скажет матери, что Гурьян по другому случаю возится с ней целый день? Нахмурился он и даже отодвинулся. Поглядел на мерина из окна, поднялся.

— Спасибо вам за чай, за сахар! Поеду.

Но никогда не знает человек, что может сделать с ним женщина. Не знал и Гурьян. Взяла его Тоня за руку, вывела в сени. Обнял Гурьян в сенях ее, пахнул в лицо горячей обидой, сказал:

— Эх, и мучаешь ты меня здорово! Никак нельзя мне дольше сидеть...

А она повела в куриный хлевушок, встала спиной к плетню.

— Поговорить нам негде с тобой...

Если баба прислоняется к плетню, и мужику приходится это самое делать. Прислонился Гурьян рядышком около Тони, уговаривает:

— Ехать надо!

А она перед ним такая маленькая, такая несчастная.

— Приедешь еще?

Тут и Гурьян несчастным сделался. Вздохнул всей грудью, потрогал Тонину кудерку на лбу.

— Конешно, приеду.

— Почему же такой невеселый?

Гурьян горько рассмеялся.

— Чудной вы народ, ей-богу! Неужто я мог поехать, если бы не такой случай? Ты считай, сколько мне встанет гулянка с тобой!

— Дорого?

Опять залезла Тоня в самую душу. Опять позабыл Гурьян про мерина голодного. Помолодел глазами вспыхнувшими, взял любовь свою за руки и держал, словно соломинку золотую, гладил кудерки на лбу дрожащими пальцами. Еще хотел чего-то сделать—она не позволила.

— Нельзя этого сейчас!..

— Почему?

— После, когда поженимся...

— А зачем ты матери не говоришь?

Смеется.

— Приедешь через три дня, тогда и разговор будет другой.

— Э-э!—сказал Гурьян.—Ты вон какая, видать.

— Какая?

— Я не способен на это — друг друга мучать. Гляди вот сразу на меня: нравлюсь — говори, не нравлюсь — не надо. Зачем по-пустому слова кидать? Мне игрушками заниматься, сама знаешь... Лошадь-то целый день стоит некормленная...

— Чего же ты хочешь?

Поглядел Гурьян голодными заблестевшими глазами, плюнул в обе ладони, стиснул Тоню в руках, поднял и начал носить по куриному хлевушку.

— Я вот чего хочу!.. Раздавить тебя хочу я!..

— Стой, стой, нельзя!..

— Али кричать будешь?

— Мама идет...

И опять упала любовь Гурьянова на самое дно. Горит в глазах, выходит из ноздрей горячим духом, дрожит в ногах, беспокойная. Разожмутся крепкие руки, качается Гурьяново тело, будто пьяное. А Тоня на ухо шепчет:

— Приезжай!.. Через три дня...

Не заметил Гурьян, как вечер подошел. Покалякал с Тониной матерью насчет хозяйства и вдруг рассердился окончательно. Быстро поставил мерина в оглобли, поглядел на месяц, вылезающий из-за села, выругал Тоню, Тонину мать и всякую любовь, которая бывает. Поправил шлею на хвосте у мерина, мрачно сказал:

— Домой айда!

Вышла Тоня проводить. На плечах у ней пуховой платочек, в волосах под месяцем светит костяная гребенка с двумя самоцветными камешками. Увидел Гурьян два камешка, хотел стиснуть Тоню около телеги, чтобы дольше помнила, она ему пальчиком вот так:

— Нель-зя!

Тут Гурьян нахмурился. Лошадь можно голодной бросить и хозяйство забыть, а ей такого пустяка нельзя.

— Прощай!

— Ты рассердился?

— Сердиться тут нечего, ехать надо...

— Я тебя жду.

Вынесла Тонина мать два яйца в тряпичке, подала Гурьяну.

— На-ка вот, миленький, ребятишкам твоим гостиничка. Будет дорога мимо лежать—заезжай.

Тоня громко смеялась.

Гурьян даже не обернулся к ней.

Мерин с радости ударился рысью.

И теперь, выехав в степь, собирая перепутанные мысли, думал Гурьян:

— Ну, и попал я здорово в эту историю!

Припомнилась Тоня в хлевушке. Сам побожился два раза, что приедет к ней через три дня и пуд муки привезет, и крышу на избе перекроет.

— Тьфу, чорт!

Вылез Гурьян из телеги, пошел вдоль оглобли. Увидал на себе розовую рубаху с миликсиновыми штанами, покрутил головой.

— Вот смех-то где!

Мерин вдруг встал.

Думал Гурьян, что мерин помочиться захотел, и тоже встал. Оглядел далекое поле, утонувшее в белом сумраке ночи, ударил кнутовищем по оглобле.

— Айда, Малышка, не стой!

Мерин не трогался.

— Что такое?

Обошел Гурьян с обеих сторон, отпустил поперешник.

— Шагай, потихоньку, шагай!

Мерин оскалил голодный рот, показывая хозяину желтые зубы, блеснувшие на месяце. Прошел шагов двести, опять остановился. Гурьян плюнул на переднее колесо.

— Доездился, сукин сын, докатался! Завтра на работу ехать, а он вот нейдет. И что у меня за характер дурацкий— целый день лошадь проморил! Ах, ты, господи! Кому хошь скажи — не поверит...

Крякал, ругался Гурьян, а мерин не шел. Если насильно гнать, еще хуже загонишь.

— Тьфу, чорт!

На телеге лежала дерюга с пологом. Рядом в долинке зеленела трава. Время теперь часов двенадцать ночи. Лучше уснуть до утра, утром на зорьке можно поехать.

— Ну, и характер дурацкий!

Затащил Гурьян мерина в долинку, выпряг, привязал вожжой за шею, другим концом — за колесо. Мерин набросился на траву с голодухи, а Гурьян, завернувшись в дерюгу, лежал под телегой. Навалилась дрема избяная на него, подогнула ноги ему, будто на печке, перепутала, остудила горячие мысли. Он уже не сердился, не ругался, не крякал, а добродушно посмеивался над собой в легкой убаюкивающей дремоте:

— Ну, и штука интересная! Ездил на станцию по общественному делу, очутился в поле за пятнадцать верст от своего села. Лежу, как дурак, и хозяйства не надо. Тьфу, проклятые бабы! Ну, что ты будешь делать с таким характером? Нет в своем селе этого добра, распустил глаза на чужую. Да, чай, если Марью взять или Мокееву Прасковью— в самый раз настоящие бабы. А эта малюшка какая-то, синтепа. Сожми в кулак хорошенько, и останется одна ерунда. Смех! Придавил я ее давеча локтем нечаянно, а она: „ой,

батюшки!" Это шутя только, а если на самом деле тиснуть покрепче?

Гурьян сонно рассмеялся, чувствуя себя здоровым озорником. Приподнял голову, прислушался, как мерин хрупает траву, опять начал дремать. Сначала подошла к нему Марья Лизарова, овдовевшая второй год: грудями полная, телом справная, щеки кровью горят. Села кошкой и давай заигрывать.

— Кого замуж возьмешь? Городскую?

— Ну, шутишь! — сказал Гурьян.

Потом Прасковья Мокеева подошла. Стиснула шею Гурьяну крепкими мужицкими руками и тоже заигрывать начала.

— Кого замуж возьмешь? Городскую!

— Да нет же, нарочно я с ней! Разве мысленное дело по-сурьезному тут? Баловство одно от нашей глупости...

Совсем отказался Гурьян от Тони, вся любовь песком рассыпалась: баловство! А Тоня (бывает это с каждым человеком) после всех и влетела в Гурьянову голову маленькой пичужкой: тоненькая, в узенькой юбке. Глядеть не на что, а Гурьян глазами оторваться не может. Хотел сказать ей чего-то, а она говорит ему:

— Спи, Гурьян Никанорыч, устал ты нынешний день, я тревожить не стану.

Обнял Гурьян дьявольскую бабенку против своей воли и проспал в обнимушку с ней до утренней зорьки. Когда поднял голову, подхваченный утренним холодком, мерина в долинке не было.

— Батюшки!

Вскочил Гурьян, как сумасшедший.

— Стой!

Вот и вожжа оборвана на колесе.

— Увели!

— Батюшки!

Увидал два яйца в телеге, грохнул их о-землю, наступил на них, как на змею подколодную, ухватил себя за волосы.

— Чего буду делать? Зарезали!

Бежит Гурьян по следам лошадиным через яровые, весенние всходы, в голове — туман, в ушах — звон, ноги подгибаются.

— Господи!

Подумал, опять пустился бежать. Выбежал на бугорок.

— Ах, нечистая сила!

Мерин на овсах лежит и боками раздулся, словно колода. Увидал хозяина, голову поднял. Хотел Гурьян ударить его от досады, но тут же подумал:

— Он не виноват!

4

В молочном рассвете четко обозначились межники с поникшим полынником, черные, глубокие борозды на парах. Вылетела из травы ранняя птичка, молча пролетела над Гурьяновой головой. Бросались в глаза узенькие суслиные норы, золотыми полосками красило солнце еще темный восток, а Гурьян все ехал и ехал и никак не мог доехать до своего села. И оно будто передвинулось верст на десять с прежнего места, и мерин будто тащился воробьиными прыжками. Вглядываясь вперед мимо левой оглобли, отыскивал Гурьян злыми глазами Акимову мельницу на пригорке. Обязательно должна она показаться раньше всех, но мельница не показывалась. Все пропало, все ушло вперед, только тоска хозяйская глубоко сидела в расстроенном сердце. Чем больше разгорался восток, выпуская острые стрелы, тем сильнее становилась тревога. Вставал Гурьян на колени, ползал по лубкам, опять садился, протягивая ноги, мутно глядел на подпотевшего мерина, роняя вожжи из рук. Сонно, медленно стучали колеса по ямкам, сонно, медленно хлопал мерин копытами, вешая голову, и вся земля, вся жизнь на земле казалась погруженной в медленный сон.

Когда показалась Акимова мельница на пригорке с черным застывшим крылом, солнце поднялось высоко. Пели жаворонки. Сочно дышала земля утренними травами. Из нор вылезали суслики, свистали, смеялись над Гурьяном и снова падали в норы, вскидывая задние лапки. Встретился Павел Назаров— хозяин, работяга. Сидел он в телеге немытый, нечесанный, грязный, в худом пиджачишке, сытно курил табачок. И лошадь была сытая у него, с крутыми боками, и сам Павел похож на настоящего мужика, а Гурьян в розовой рубахе—бездомовец,

дурак-дураком, и глаза не знает куда спрятать. Павел на работу выехал, Гурьян из гостей возвращался. Наказанье с таким характером!

— Откуда скачешь? — спросил Назаров, придерживая лошадь.

Замешкался Гурьян, задвигался, под затылком стало горячо. Хотел по-совести признаться—неудобно, и начал вдруг ругать революцию. Никак нельзя нашему брату с нынешними порядками! Поехал он на станцию вчера по общественному делу, комиссара повез, а на станции, понимаешь, попалась этому комиссару бабенка: своячница што ли или еще какая родня— чорт их узнает! Ну, комиссар сейчас за Гурьяна: вези, говорит, до Романова. Она, говорит, тоже по общественному делу, и мандаты у нее всякие есть. Он, Гурьян, и так и эдак начал увертываться: и лошадь у него не годится, и колеса плохие, да разве можно с ними нашему брату говорить? Повез! В ночь обратно побоялся ехать, лошадей отнимают, а бабенка эта, понимаешь, оказалась женой другого комиссара. Привез он ее, сейчас его за стол посадили, ешь чего хочешь. Вот, понимаешь, живут! Вина разного четыре бутылки, если не больше, рыба всякая, калач и, кабы не соврать, гусь жареный. А если не гусь, то либо курица, либо утка. Ну, и Гурьяну попало. Выпил он три штуки натощак, ноги у него и примерзли тут. Всю ночь кружился с комиссаром, песни пел. И эта, понимаешь, бабенка-то: прилипла в сенях к Гурьяну, за руки хватает. Он пьяный-пьяный, все-таки неловко ему. Хотел стиснуть ее, она как тяпнет его в это место...

— Укусила? — спросил Назаров.

— Выпимши была!

Рассказывал Гурьян и сам не верил, что умеет так врать. Павел поверил. Оглянулся назад—нет ли кого—и тоже выругал теперешнее начальство, которое мужиков гоняет по разным делам.

— С нас курей собирают, шерстью, маслом, а сами тово... За это тоже нельзя хвалить. Берешь коли, делай по-совести.

На гумне с вязанкой соломы возилась Мокеева Прасковья.

Гурьян остановился.

— Работаешь? Бог помочь тебе!

Прасковья отвернулась.

— Езжай дальше мимо наших ворот...

— Что нос-то гнешь? — крикнул Гурьян.

И Прасковья крикнула через плетень:

— Нам куда до вас! Мы простые, деревенские.

Гурьян ухмыльнулся.

— Язва, смеется!..

Пробравшись на двор через задние ворота, он долго кружил возле телеги, вытирая мерину подпотевшее брюхо, думал:

— Надо в избу итти.

И все-таки медлил.

Вышла мать-старуха попрежнему в черном платочке, сухо сказала:

— Ты что, сынок, вернулся скоро?

Гурьян молчал.

— Пожил бы там денька три, нагляделся бы хорошенько. Эх, ты, головка неразумная! Да пущу ли я ее в дом? Да дам ли я ей в руки хозяйство? Да я ее кипятком сварю, подлую! Богу не молится и табак лопает по-мужицки. А уж телом-то — тьфу! Я старуха — толще ее! И кудерки распустила на лбу, зеркало ей нужно с занавесками. У-у, лихоманка, нечистая сила, согрешила я, грешница! Лучше не води ее, а приведешь — на стенку повесь такую занозу.

Гурьян не оправдывался. Ошибся маленько он, сам понимает теперь. Тряхнул головой, сбрасывая тяжелый сон, стащил с себя розовую рубаху с миликсиновыми штанами, оделся в старое. Завтракал молча и думал о том, как он поедет сегодня боронить дальнюю десятину, как вернется потом домой, все позабудется, все уляжется на свое место, и он же после будет смеяться над своей любовью. А из блюда на него (это бывает с каждым человеком), из блюда на него поглядела Тонина кудерка, выпавшая из-под беленького платочка, Тонина гребенка с двумя камешками самоцветными и глаза узывающие. Положил Гурьян ложку на стол, задумался. Старуха-мать спросила:

— Еще подлить тебе?

— Не надо.

— Или там сладко наелся?

Гурьян не ответил. Взял ложку, опять начал есть. А когда старуха-мать поставила блюдо с кашей, в ухо Гурьяну чуть слышно шепнул невидимый голос:

— Почему вы такой невеселый, Гурьян Никанорыч?

Оглянулся Гурьян, посмотрел в окно на едущих по улице мужиков с боронами, перекрестился два раза, вылез из-за стола, не трогая каши. Опять в ухо шепнул невидимый голос:

— Разве вы религиозный?

Нахмурился Гурьян, потер левый висок горячей ладонью, хотел что-то припомнить. Переобул лапоть на одной ноге, вытащил топор из-под кровати, и вдруг захотелось ему пить. Страшно захотелось. Почерпнул ковшик воды из ведра, а в ковше таракан с мухой плавают.

— Чортова грязь! — выругался Гурьян и выплеснул воду на пол.

Старуха-мать из чулана ругалась.

— Чего плещешь? Или наехало на тебя? Чай, не крыса попала туда. Сроду не пил такую воду, озорник?

Гурьян оглядывал избу злыми встревоженными глазами. Да, много он пил такой воды, теперь больше не хочет. Изба ему тоже не понравилась. Откуда столько грязи в ней? Ни одной картинки на стене! И кровать, чорт знает, на чего похожа, только лошадям с коровами спать... Везде мухи, тараканы. Э-эх, дьяволы! Топором бы всех порубить акаянных.

В поле Гурьян выехал поздно, ехал один, и когда проезжал мимо мужиков, работающих на своих десятинах, было ему досадно и скучно. Всегда бывает скучно после праздника, а у Гурьяна наступили будни — старые, надоевшие. И мужики смешные все: низенькие, коротконогие, с большими ширинками, кругом волосами обросли, землей выпачкались: под ногами земля, в носу земля, в ушах земля и на зубах земля. Вспомнил Гурьян жену-покойницу, и тут же рядом с ней встала Тоня в узенькой юбке, с самоцветными камешками в волосах. Как прошла мимо Гурьяна, будто ласточка пролетела в воздухе; как завертела узенькой юбкой, будто ласточка длинным хвостом, да как глянула русой кудеркой на лбу,—сразу потемнела жена-покойница, с которой прожил десять лет. Потемнели и Марья с Прасковьей, потемнели все вдовы знакомые, потемнели

все девки полногрудые, и одним только солнышком на всей земле глядит на Гурьяна тоненькая остроносая Тоня ласковым играющим глазом. Идет, двигается она из степного полыхающего марева, в хмель бросает, без огня жгет Гурьяново сердце. Сидит Гурьян на телеге, смотрит сонными заплывающими глазами. Вскинет голову, встряхнет дрему навалившуюся, ударит мерина вожжей и опять сидит, покачивается. Сонно стучат колеса по кочкам, сонно поют жаворонки, текут сонные Гурьяновы мысли.

Думает Гурьян.

Если впустить Тоню в старую отцовскую избу — ничего не останется от старой отцовской избы. Сама богу не молится и над ним будет смеяться, когда он захочет помолиться. Иконы покажутся лишними. Занавески на окнах придется повесить, и подушки на кровати сменить. Куда дело пойдет, если волю дать по-настоящему? Может быть, он не послушает ее, но может быть, и послушает. Захотела она вчера вымыть его да в рубашку праздничную нарядить — сделал он. Шутя-шутя, а все-таки покорился. И опять сто раз покорится, потому что любовь к ней какая-то есть, расположенье...

Думает Гурьян.

Проходит перед ним старая прожитая жизнь, и стоит в этой жизни граневым столбом маленькая, чудная Тоня, приехавшая из города. Хочется Гурьяну пойти вместе с ней в новый, соблазняющий путь. И сложеньем она не такая, как все, и слова у нее не такие, как у всех. Помнит Гурьян, как она говорила вчера: и лицом он нравится ей и характером, а как живет да как работает — не нравится. Изба у него грязная, сам грязный и книжками не интересуется.

Течет степное марево, обнимает солнышко, шумит ветерок. Будто нашел на Гурьяна крепкий, хороший сон, и видит он во сне маленькую, остроносую Тоню, ни за что не хочет расстаться с ней. Пусть она разломает всю жизнь у него, пусть поссорит с матерью, заведет новый порядок в старой отцовской избе...

Мерин останавливается.

Громко лает собака на чужой десятине...

Гурьян просыпается...

5

Прошло три дня, потом еще три дня и еще один день. Гурьян работал в поле, месил кизяки на гумне, устал, перемазался, но ехать к Тоне не собирался. По вечерам в избу к нему забегала Прасковья Мокеева то за солью, то за топором, то будто к Гурьяновой матери по бабьему делу. Гурьян смотрел на нее издали, вплоть не подходил и руками не трогал. О Тоне тоже не думал. Правда, сама она проходила в голове у него, но он не думал. И если осматривал чекушки с колесами и хлопал мерина по плечу, то не потому, что к Тоне поехать хотел: просто так.

В пятницу вышел грех.

Вечером, когда Гурьян стоял под сараем в темном углу около колоды, с улицы в калитку вошла Мокеева. Остановилась у крылечка, поправила платок на голове. Не видала она Гурьяна, а Гурьян ее всю видел: стоит в белой кофте с вышитой грудью, в девичьей юбке с двумя оборками. Отряхивается, потягивается, глядит под сарай. И так Гурьяну стало жалко ее, так обидно, что он напрасно только расстраивался — разве она хуже т о й? Шагнул Гурьян навстречу, в темноте окликнул:

— Чего ходишь тут?

— Ой, батюшки, как ты напугал меня!

— Ну, ну, обмерла!..

— Постой, солдат, постой!

— Нет тут никого...

После Мокеева держала Гурьяна за подол, упрашивала сесть, но Гурьяну было скучно. И сам не знает, что такое с ним. Не любит он больше ни Марью, ни Прасковью: слова у них другие и глаза другие. Не обожгла любовь Прасковьина, не опалила, а легла на сердце тяжелым укором. Встала опять около Гурьяна маленькая, остроносая Тоня, повела его в темную избу, уложила на пыльную деревянную кровать. Запахло шерстью от вывороченной шубы. Зажмурился Гурьян, долго лежал без движения, вытянув ноги. Слушал, как падают тараканы с потолка, как ползет по стенам темная давнишняя тоска, и вся жизнь у Гурьяна свернулась в темный комок.

Вошла мать-старуха, стала говорить, Гурьян не слушал. А когда в дверях показалась Мокеева в белой кофте с вышитой грудью, он вскочил с кровати неузнаваемый, и без фуражки, в распоясанной рубахе, вышел в сени, из сеней — на двор, со двора — на улицу. Всю ночь тосковал, хотел даже запьянствовать. По одну сторону Мокеева плачет, укоряет нехорошими словами, по другую Тоня с укором:

— Почему не едешь ко мне?

Если к Тоне ехать — Мокееву бросить надо.

Если с Мокеевой оставаться — скучно.

В субботу Гурьян мылся в бане у Ермолаевых, старательно скоблил за шеей, в ушах, парил голову кипятком, обжигался, но был очень доволен и душевно тих. После бани попил чайку в одиночку, съел два яйца, просушил голову, отправился к Яшке Вороненому поправить волосы немножко. Яшка — мастер. В десять минут отделал он Гурьяна под ерша, будто новобранца, приехавшего на солдатскую службу. Оглядел подбородок, заросший волосами, стал бритву точить.

Гурьян не перечил. Провел рукой по голому затылку — хорошо. А когда Яшка вылизал подбородок ему — и лицом моложе стал.

— Ты, Гурьян, жениться что ли хочешь? — спросила Яшкина баба.

— А что?

— Больно модничать начал.

Надул Гурьян бритые щеки, сказал:

— Надоело в волосах ходить! Жарко и пыль всякая садится каждый раз.

— А правда — ты городскую берешь из Романова?

Яшка был друг, вместе на войну ходили, и Гурьян рассказал ему всю историю.

— Вот, понимаешь, бабенка налетела на меня — не оторвешь никак. Везу ее со станции, прошу тридцать лимонов за подводу, а она вытащила сто, смеется: „сдача есть?“ Я, понимаешь, глаза вытаращил на нее. У меня, говорю, нет такой сдачи. Ну, она опять улыбается. Вы, говорит, женатый? Вижу, играет со мной, прижимается. Знаешь, как бабы всегда: головой вертит, глазами ширяет и рукой меня трогает, будто

невзначай. „Извините, товарищ, задела я вас!“ Гляжу на нее, думаю: чего мне с ней сделать? Начал подпускать разных прокламаций и тоже: нет-нет, да и задену рукой, будто невзначай. Низвините, говорю, товарищ, я вас тоже задел. Ну она, понимаешь, ничего, смеется только и в глаза глядит. Слово за слово — разговорились. Сидим, конечно, рядом: я вот так, она вот так. Это моя нога, это ее нога. Ехали-ехали, мне надоело лавочку разводить. Беру ее за плечо, говорю: есть у вас муж? — „Нет!“ — Одна живешь? — „Конечно, говорит, скучно, куда же деваться!“ — Тут мы и уговорились...

— А свадьбу когда? — спросила Яшкина баба.

— Свадьбу хоть сейчас начинай, дело за мной стоит.

— Почему?

— Хочу до осени подождать, характером узнаю получше...

Яшка слушал молча, потом вдруг поднялся.

— Богатая она?

Гурьян задумался.

— Как тебе сказать! Сундук она везла из города, ну, я, понимаешь, насилу поднял его.

— А в сундуке чего?

— В сундуке всякая-всячина, я уж там не глядел...

Яшка начал ходить по избе. Походил немного, остановился.

— Все-таки дурак ты, Гурьян!

— За что?

— Я бы на твоем месте взял у нее портмонет и не отдал и в сундуке хорошенько пошарил.

— Ну?

— Вот тебе ну! Можа, она мазурка какая! Откуда она столько нажила?

Гурьян улыбался. Вернулся он от Яшки поздно, долго не мог уснуть. Поднимал стриженную голову, которая будто легче стала, улыбался, опять засыпал, видел во сне картинки на стенах, занавески на окнах, книжки, газеты, а среди этих книжек — о н а, тоненькая городская бабенка, перевернувшая всю его жизнь.

Рано утром, когда еще куры сидели на нашесте, Гурьян запряг мерина, насыпал в мешок из кадушки пуд муки-обойки, достал из погреба кусок коровьего масла, завернул

в тряпицу и, поссорившись с матерью, поехал в Романово повидаться. Он опоздал на шесть дней, чувствовал себя виноватым, но утешал его пуд муки-обойки и кусок коровьего масла: за такой гостинец можно принять в любое время. Улицей Гурьян ехал шагом, чтобы не тревожить собак. Люди в избах еще спали, никто не видал, никто не спрашивал, куда едет Гурьян, и ему это было на руку. Но Прасковья Мокеева не спала. Когда он стал подъезжать к ее избенке, она выгнала корову из калитки. Сначала не узнала бритого человека, потом от волненья выронила прутик из рук.

— Куда тебя понесло?

Гурьян не ответил. Резко стегнул мерина, простучал колесами в утренней тишине, скрылся за околицей. Там опять поехал шагом. Лежал на боку, смотрел на розовеющий край неба и думал о том, что вот он едет в Романово, везет пуд муки-обойки, кусок коровьего масла. В Романове его встретит Тоня, сначала поругает маленько, потом поставит самовар, поговорят они, поиграют и оттуда, наверное, приедут вместе. Если не захочет она венчаться, и он не будет: дело не в этом. Только бы уваженье иметь между собой, обоюдное согласье. Изба Гурьянова не нравится ей, он и тут перечить не станет. Велит она картинок купить—купит. Велит занавески купить—и занавески купит. Сколько тут встанет — пустяки!

Думал Гурьян, и думы у него были теплые, тихие, на душе покойно, радостно, и вся жизнь впереди стояла радостная, обновленная.

Больше человеку ничего не надо...

6

Было рано.

Мерин подвез прямо к избенке — запомнил дорогу. На двух окнах белелись занавески. Гурьяну это понравилось. Из глаз у него брызнул веселый праздничный смешок, губы разъехались в улыбку.

— Устроила уж, успела! Ах, ты, батюшки!

И Тоня сама, и Тонина избенка с двумя занавесками показались милее, роднее и ближе Гурьянову сердцу. Поставил он

лошадь за стенку, пока не выпрягая, осторожно толкнул запертую дверь. Погладил бритые щеки, улыбнулся, одернул подол у рубашки.

Тоня не отпирала.

Гурьян поглядел в щелочку одним глазом, увидел Тонину голову на белой подушке, Тонины ботинки с длинными голенищами на полу около кровати, тихонько сказал:

— Спит!

Обошел вокруг избенки, поправил чолку на лбу у мерина и тоже сказал ему, как хорошему товарищу:

— Спит!

Посидел на наклеске, выкурил вертушок, пересчитал воробьев на ближнем заборе — восемь штук. Поискал камешек, чтобы кинуть в воробьев для шутки — не нашел. Потрогал муку с маслом под пологом, поглядел на солнышко, засмеялся:

— Ну, и спит долго моя барыня! Пойду разбужу...

Подошел к сеням, постучал сильнее в запертую дверь.

— Кто там?

Прозвенел колокольчиком давно неслыханный голосишка, у Гурьяна и ноги разъехались от нетерпенья.

Она!

— Кто там?

— Мы это, я! — сказал Гурьян и вдруг рассмеялся. — С праздником вас!

Выглянула Тоня из сеней, протянула в дверь тоненькую, теплую руку:

— А-а, здравствуй! Проходи в избу, сейчас я оденусь.

Шагнул Гурьян в сени, будто в туман густой, увидал в густом тумане деревянную кровать, белую подушку, начал слабеть, мучительно озираться, широко раскрывая рот счастливой улыбкой. По глазам ударили голые Тонины плечи, теплым золотым колечком обвила Гурьяново сердце Тонина кудерка, смятая за ночь. Протянул Гурьян в густом тумане длинные дрогнувшие руки, будто Тоню обнял, будто к себе прижимает, а она совсем далеко от него: стоит в уголке и платком закрывается, и голос неласковый слышно оттуда:

— Иди в избу, я же раздетая!

Улыбается Гурьян, ничего понять не может. Поднял с полу Тонину ботинку на высоком каблуке, длинный Тонин чулок, от которого пальцы горят, светит глазами влюбленными:

— Ну, ну, одевайся скорее, отвернуться можно...

Но опять у нее неласковый голос:

— Гурьян Никанорыч, я же рассержусь! Не подходи сюда.

— Ах, ты, мать честная!

Выбежал Гурьян из сеней, раскрыл пыльный полог на телеге, взял в одну руку муку-обойку фунтов двадцать, в другую — кусок коровьего масла, завернутого в полосатую тряпичку. Вернулся с гостинцами, душевно положил их на полу около Тониных ног:

— Вот вам от меня маленькая штучка!

Не вытерпело тут Тонино сердце: взяла она за руку Гурьяна, говорит:

— Слушай, может быть, ты себя обижаешь? Теперь это дорого стоит.

Гурьян улыбался.

— Кому дорого, кому нет. Для вас привез. Желаете взять — берите, не желаете — прямо говорите, я насильно не буду...

Пришла от обедни Тонина мать, Тоня сказала:

— Видишь, мама? Гурьян Никанорыч привез.

Старуха всплеснула руками:

— Батюшки, добро-то какое! Почем, сынок, положишь нам?

Гурьян улыбался.

— Сделаемся! За деньгами гнаться не стоит...

Потом пили чай. Сидел он рядом с Тоней в переднем углу. Тоня сама наливала ему из маленького самовара, сама ставила стакан перед ним, сама говорила:

— Пей еще!

Потом, когда ушла старуха из избы, сидели они в сенях на Тониной кровати. Сладко кружилась Гурьянова голова, жаром горели выбритые щеки. Лечь бы ему головой на белую подушку, обнять душевно Тоню, заплакать от радости, засмеяться:

— Эх, Тонька, Тонька, мучаешь ты меня здорово!

Тоня первая сказала, поправляя гребенки в волосах:

— Оставайся до вечера. Вечером пойдем в народный дом, спектакль там будет у нас. Хочешь посмотреть, как я играю на сцене?

И Гурьян охотно ответил:

— Ну, что же? Можно и это поглядеть.

— Танцовать умеешь?

— Зачем?

— Я бы пригласила тебя после спектакля...

Гурьян вскинул голову.

— Чего-то не занимался такими делами...

— А выучиться хочешь?

— Как?

— Я научу, если хочешь.

— А ну, показывай, коли желательно...

Поставила она его посреди сеней, дверь на запорку замкнула, положила Гурьянову руку себе на плечо, постучала каблуком в половицу:

— Самую простую научу — польку-мазурку...

— Постой, а зачем учить ее?

— Не желаешь?

— Нет, я к примеру спрашиваю.

— После узнаешь, после! Фу, мужик неуклюжий! Стой вот так!

Смеется Тоня, вертит Гурьяна, будто солдата деревянного, юбкой путает ноги ему. Кто выдумал эту самую любовь? Смешно Гурьяну над собой. Смешно и непонятно, какая сила кружит его по запертым сеням. Будто не он кружится с Тоней, а кто-то другой. Будто не он тяжело отдувается, неуклюже загребая ногами, а кто-то другой, совсем непохожий на Гурьяна. Не гармонь-двухрядка — сердце Тонино играет, и под эту музыку пьяную топает Гурьян тяжелыми сапогами, наступает на Тонины ботинки, а она, веселая озорница, колотит его юбками по коленкам, подгоняет, подстегивает, светит камешками на гребенке, светит зубами из-за припухших губ и опять кружит, ненасытная.

— Ух, не умеешь ты!

Как во сне стоит Гурьян перед ней, как во сне поднимает на воздух, кладет на кровать. Смотрит в лицо не своими глазами, давит ей губы не своими губами, не своим голосом говорит:

— Тоня!

— Ну?

— Неужто ты не понимаешь ничего?

— Ну, говори!

— Зачем я приехал сюда?

Раскрыл Гурьян душу свою, начал говорить, будто на исповеди. Разве нарочно мучает он себя вторую неделю и лошадь гоняет второй раз? Разве не верит она, что он от хозяйства отстал? Почему же не скажет она ему окончательно? Если не нравится любовь его — домой он соберется и никогда не станет в глаза попадаться. А если согласна она — избы бояться нечего: избу всегда можно перестроить, как сама велит, и занавески на окнах можно повесить, и картинки купить, и книжки с газетами завести. Гурьян ни в чем не положит запрета ей, только пусть она не мучает его и скажет ему окончательно:

— Да, Гурьян Никанорыч, я согласна!

Или:

— Нет, Гурьян Никанорыч, я не согласна!

— А венчаться как? — спросила Тоня.

— Как сама велишь.

— В церкви я не стану...

— На это наплевать! — обрадовался Гурьян. — Ты не станешь, и я не буду — дело маленькое...

— А воля моя как?

— Какая воля?

— Если я вздумаю уйти от тебя, когда не понравишься ты своим характером?

— Это видно будет там, сейчас не узнаешь. Может быть, и бежать не придется.

— Ну, хорошо! — улыбнулась Тоня. — Ночью обо всем поговорим, а сейчас в народный дом пора, репетиция у меня. Пойдешь?

Гурьян улыбнулся, разводя руками:

— Куда же деваться теперь, если такая история начинается у нас!

Глядел он в Тонины глаза узывающие, видел кудерку на лбу, белые зубы из-за припухших губ, старую мать в черном платочке, старую отцовскую избу с черными углами, думал:

— Эх, мазурка-мазурка! Придется, видно, всю жизнь под коленку теперь — ничего не поделаешь...

БОЛЬШЕВИКИ

В полдень на дворе собираются большевики: Женька, Борька, Маруська, Борькина сестра Нинка, Женькина сестра Ленка и Ленкина кукла со стеклянными глазами. В зеленых деревьях, вымытых вчерашним дождем, сидят воробьи. Один из них, самый пугливый, думая, что ребятишки станут кидать камнями, улетает от греха подальше. Двое других, самые смелые, глядят сверху вниз. Но ребята совсем не хотят кидаться, потому что они не просто ребята, которые озорничают все время, а настоящие большевики. Каждый день, в это же время, когда солнышко печет в самую вершинку, на тесном дворе с низкими деревьями становится особенно скучно: тучки по небу не плавают, аэропланы не летают. Женька, токарев сын, производит себя в командиры, остальных большевиков — в красноармейцев. Маленькая пешая армия вооружается камешками, становится в ряд, и все до одного по Женькиной команде стреляют в толстую стену большого каменного дома за низким забором. Потом Женька ведет пешую армию по тихой окраинной улице на широкий пустырь и гоняет там молодых красноармейцев до тех пор, пока Нинка с Ленкой не заплачут от усталости, разевая мокрые задохнувшиеся рты.

Сегодня Женька — оратор, и такой же строгий, такой же уверенный, как и тот, которого не раз он видит в районном клубе по праздничным дням. Он устраивает митинг на дворе под солнышком, становится в середину.

— Хотите слушать мою речь? — спрашивает Женька.

— Какую? — в три голоса кричат Нинка, Ленка и Маруська.

— А вот я придумаю. Нинка, ты зачем хочешь плакать?

— Меня Ленка в бок толкает.

— Не плачь сейчас, не надо, я буду речь говорить. Маруська, не гляди в ту сторону!

— А чего мне Борька на ноги наступает? — сердито вскрикивает Маруська.

— Борька, не наступай, привыкайте к порядку! — строго приказывает Женька. — Когда я замолчу совсем, вы руками хлопайте, если вам понравится моя речь, я опять стану говорить. Потом и Борька скажет речь. Ты, Маруська, скажешь?

— Чего?

— Чего-нибудь! Как живете вы с матерью, какую пищу едите.

— Когда, вчера?

— И вчера, и каждый день.

— Мы вчера картошку варили.

— Ну, постой, не сказывай, я тебе слово дам...

— А мне, Жень, дашь? — спрашивает Ленка.

— Ты заикаешься больно.

— А Нинка?

Нинка смотрит на Женьку большими тревожными глазами, лоб у нее от напряжения становится красным, на маленьком веснушчатом носу — круглой пуговкой — выступает пот. Женька с минуту раздумывает, нахмуривая бровь.

— Там увидим! Останется время, я всех запишу.

Серьезный и строгий, с подсученной штаниной на левой ноге, делает он наказы уверенно, часто проводит ладонью против жестких стриженных волос, как делает и тот, настоящий оратор, в районном клубе. Женька и манеру его усвоил — стоять на одной ноге, вскидывать голову, прищуривать глаза, улыбаться снисходительно-гордой улыбкой.

Собранье Женькино рассаживается по земле тесным полукругом. Ленка бежит за куклой, оставленной под деревом, сажает ее рядом с собой, поднимает на оратора серые внимательные глаза, часто шевелит губами. Губы ей мешают. Она то сожмет их плотно-плотно, то чуточку приоткроет, лизнет языком, мигнет подряд два раза и опять смотрит на оратора внимательно, напряженно.

— Уселись? — спрашивает Женька, отставляя вперед левую ногу.

Но тут перебивает Борька.

— Постой, Женька, ты нынче кто? Троцкий?

— Нет, — отвечает Женька, — нынче я Луначарский.

— А я кто? — спрашивает Борька.

— Хочешь — Троцким?

— Ну, давай!

Когда Женька „дает“ Троцкого, Борька опять кричит:

— Постой, Женька, если я Лениным буду?

— Бывай Лениным, все равно такой же большевик.

Неожиданно поднимается Маруська.

— Э, какие ловкие! Взяли себе Ленина с Троцким, а нам не оставили.

— Вы делегатками будете — на съезд к нам приехали, — говорит Женька. — Хотите, чтобы Борька Лениным был?

Все молчат.

— Нинка, подними руку! Ты согласна?

— А Ленка согласна? — спрашивает Нинка.

— Я давно согласна, раньше тебя! — откликается Ленка.

Нинка смотрит на Маруську теплым разинутым ртом, нервно вертит подол у рубашки.

— Я ничего не согласна, и не больно мне нужно!

— Зачем же ты плачешь?

— Да я не знаю — чего я согласна!..

Молодой Луначарский, сын токаря, Евгений Федорыч, товарищ Толмаков, начинает сердиться.

— Если вы не будете согласны, мы вас в большевики не возьмем! Зачем вы глазами глядите во все стороны? Глядеть надо на меня, когда я говорю, и слушать надо мою речь. Маруська, зачем ты головой вертишь в ту сторону?

— Кошка там ползет!

— Где?

— Вон, вон...

Женька видит на крыше большую серую кошку, и мысли в голове у него вдруг обрываются. Ему хочется запустить в кошку камешком, чтобы мяукнула хорошенько, но этого

делать нельзя сейчас, потому что он — Луначарский, приехал на митинг. Борька тоже смотрит на большую серую кошку и сзади за спиной у себя нашаривает камешек вытянутыми руками. Забывают и делегатки, о чем говорил оратор. Все глядят на низкую тесовую крышу.

Женька неожиданно говорит:

— Перерыв на десять минут, кому хочется глядеть! А ты, Ленка, беги домой скорей, принеси мне карандаш и спроси у мамы хлебца маленький кусочек.

Нинка тоже хочет есть, Маруська хочет пить, и весь митинг разбегается в разные стороны, в разные двери. Нет и кошки на крыше. Остаются только товарищ Луначарский с товарищем Лениным. Ленину хочется влезть на дерево, Луначарский ловит его за штаны.

— Не надо сейчас, давай лучше речь приготовим! Мне хочется устроить первый май.

— А флаги где? — спрашивает Ленин.

— Один разок без флагов можно.

— А музыка?

— Это вот верно. Без музыки не бывает первый май.

Весной, когда Женька с Борькой ездили в автомобиле на городскую площадь, где ходили заводские с фабричными — эх, сколько было этой самой музыки! Которая в барабан играет, которая в губы дует. А одна труба больше всех была, и лады на ней приделаны. После Женькин отец рассказывал, что под музыку ходить больно легко: ноги совсем не устанут, и плясать маленько хочется...

Молодой Луначарский ложится под деревьями около низенького забора и сквозь зеленые ветки задумчиво смотрит в сухой, струящийся воздух.

— Тебе который год? — спрашивает он Ленина.

— Скоро восемь пойдет!

— А зачем ты маленький такой?

— Эх, маленький!

— Ну, да, меньше меня.

Борька ложится рядом с товарищем Луначарским, вытягивает ноги, пыхтит, надувается, чтобы вытянуться еще больше, но в это время Нинка кричит от крыльца:

— Боря, твоя башня свалилась, чуть-чуть не упадила, и мне больше не хочется делегаткой!..

Ленка бежит с карандашом в руке.

— Женька, мама хлеба не дает и велела тебе домой итти!

Маруська молча глядит из своего окошка, капая на голову себе водой из ковша.

Женька обижен. Стоя посреди двора на широко расставленных ногах, ласково говорит он разбежавшемуся митингу:

— Вы разве совсем не будете с нами?

— Жарко больно, не хочется! — отвечает Маруська из окошка.

— И делегатками не будете?

— Нет, мы никак не будем!

— Эх, а мы с Борькой первый май сделаем, сошьем красные флаги! Борька устроит барабан, а я нарисую чего-нибудь. Будем с песнями ходить, два раза искупаемся в речке, из песка наделаем блюдечков, станем чай пить, как в клубе. Ты, Маруська, умеешь петь?

— Какую?

— Вся власть советам!

— А чего не уметь-то! Я ее давно умею, больше тебя.

— А ты, Нинка?

Нинка спрашивает Борьку:

— Борь, я умею ее?

Когда делегатки снова появляются на дворе, Женька, чувствуя победу, делает им выговор:

— Ты, Маруська, и ты, Нинка, хуже всех! Сами большевики, сами бегаете. Разве большевики от товарищей бегают? Я хотел вам речь сказать, теперь не скажу. Говори им, Борька, сам!

— Чего?

— Речь, чтобы они не бегали. Вставай на мое место!

Ленин становится на Женькино место, запрокидывая голову. Видит белую тучку, остановившуюся прямо над двором, и вдруг начинает чесаться локтями.

— А прежде какую говорить?

— Про все говори!

Борька тычет пальцем, показывая на делегаток:

— Ты, Маруська, ты, Нинка, и ты, Ленка, пришейте нам флаги! Если не пришьете, мы не станем с вами водиться. Уйдем двое с Женькой, будем купаться весь день, а вас и на речку не пустим. Даст мне мама денег, я барабан куплю. Что?

— А мне мама тоже даст! — кричит Нинка.

— Она тебе давала!

— А тебе не давала?

— Нам не больно нужно! — неожиданно перебивает Маруська. — Я сама буду Луначарским, а Ленка с Нинкой — Троцким.

— А ты верхом не умеешь ездить! — загорается Борька.

— А вы в речке плавать не умеете!

— Кто, я не умею? — спрашивает Женька, выступая вперед.

— Не ты, Борька вон каждый раз около бережка ползает!

Губы у Борьки дрожат, глаза смотрят исподлобья. Какой же он большевик, если только около бережка ползает?

— Женька, разве я не умею плавать? — спрашивает он дрогнувшим голосом.

— И ты умеешь, а я все-таки лучше тебя! — с гордостью отвечает Женька.

— Эх, а я по сих пор залезу — не боюсь! — хвалится Борька.

— А я вот по сих пор залезу! — хвалится Женька.

— А я вот по сих!

Борька садится на дворе посреди неоконченного митинга, держит ладонь на голове, показывая глубину, куда он залезет.

— И лягушек не боишься? — спрашивает Маруська.

— Боишься! Я их ногой раздавлю.

— А змеев? — тихо спрашивает Женька, оттопыривая губы.

— Змеев и ты боишься! — смущается Борька.

— Вот и неправда твоя! — причвокивает Женька. — Я змеев не боюсь, собак не боюсь и на маленького волка с палкой пойду...

— А я комаров не боюсь! — подпрыгивает Нинка. — Они меня щиплют, которые кусают, а мне и не больно даже...

Молодые большевики, увлеченные спором, разом выходят со двора, торопливо шагают к речке, чтобы показать друг другу, чего они не боятся.

— Я нынче в рубашке буду купаться! — говорит Маруська.

— Я тоже в рубашке! — перебивает Борька.

— А я и в рубашке и в штанах! — спокойно пошмыгивает носом молодой Луначарский.

Нинка, облизывая языком сухие обветренные губы, часто семенит босыми ногами, раздувая горячую пыль. Пыль лезет Борьке в рот, и он все время дергает молодую делегатку за серенький вихорок, перевязанный красной ленточкой. Нинке больно, из глаз у нее лезут слезы, но плакать ей нельзя теперь, потому что она большевистская делегатка, идет с большевиками, которые ничего не боятся.

В траве около забора светит консервная банка. Молодой Луначарский вытирает ее подолом рубахи, сует Маруське в руку.

— Держи, бить будешь в нее, сейчас мы устроим первый май.

— А чем буду бить? — спрашивает Маруська.

— Сейчас найдем.

Борька разыскивает большой проржавленный гвоздь. Консервная банка, перевязанная Борькиным поясом, висит на шее у Маруськи. Сама Маруська ждет приказанья. Женька велит петь разными голосами, чтобы громче выходило, поправляет штаны, машет рукой, и пять молодых большевиков нестройным хором бросают в тишину окраинной улицы звонкую красноармейскую песню:

Смелó мы в бой пойдем
За власть советов!

Сверху, прямо в вершинку, горячо печет июльское солнце. Сухой, струящийся воздух обжигает шеи. Молодой Луначарский снимает рубашку с себя, машет ею над головой вместо красного флага, громко поет:

И все за э-та!

Нинка, высоко поднимая ноги, крепко бьет голыми подошвами в землю и, не слушая других, тянет свою песню срывающимся голосом:

И все умрем в борьбе,
Мы все в борьбе за власть,
За власть в борьбе,
За э-та!

Маруська с широко раскрытыми глазами колотит большим гвоздем в консервную банку:

— Тра! Тра! Тра!

Маленький Ленин кричит, хватая Ленку с Нинкой за руки:

— Левой ногой! Левой ногой!

Идет „первомайская“ демонстрация в жаркий июльский полдень по вымершей окраинной улице с закрытыми окнами, шумит, тревожит воробьев, весело двигается на желтенький песочек к реке, где можно месить пироги и лепешки, где откроют они настоящий буфет, как в районном клубе, только без чая и сахара, но много вкуснее...

КРАСНЫЙ СЫЩИК

С нынешнего дня Петька Строган будет красным сыщиком, и все должны ему завидовать, считать его очень ловким, ловчее всех. Но сам он никому не расскажет о том, что скрывается у него в умной, большой голове.

В комнату с двумя окнами ложились вечерние тени, лезли в потолок по стене, дрожали, вытягивались, и вместе с ними дрожали Петькины руки от непривычного волнения. Заложив их в карман коротких штанов, крупными шагами мерил он комнату, прищуривая хитрые глаза, задумчиво шмыгал носом.

В коридоре мяукнула кошка.

Петька впустил ее в комнату, с сердцем ударил ногой по голове, чтобы не бегала, и быстро, ни о чем больше не думая, приподнял тяжелую сундучную крышку. Из сундука глянули отцовские шаровары с рубашкой, положенные сверху, и синяя с цветочками юбка, которую мать надевала по праздникам. Мать, наверное, скорее догадается, она ходит лечиться к доктору и каждый раз надевает синюю праздничную юбку. Петька заглянул в окно, прислушался около двери, ловко сунул юбку на кровать под подушку, улыбаясь хитрыми глазами:

— Пускай теперь поищет два дня!

Но через минуту встревожила другая мысль: если мать станет раскладывать постель перед сном, она увидит спрятанную юбку, снова положит ее в сундук, сундук запрет на замок, и тогда красному сыщику нечего будет искать. Наморщив лоб, Петька спрятал юбку за пазуху, непринужденно вышел в коридор, поднялся на чердак, аккуратно положил юбку за трубу в темный уголок и очень довольный вышел к товарищам на улицу.

Поздно вечером мать говорила отцу:

— Завтра я, Володимир, пойду опять к доктору, чтобы болезнь не запустить. Ты дай мне денег немного и после не ругайся, если я буду лекарство покупать...

Отец, молодой типограф, обиженно говорил, выпячивая губы:

— Чего у тебя болит?

— Вся не гожусь: одышка мучает, и на лестницу трудно подняться...

Пока отец с матерью ругали доктора, который дорого берет, Петька за столом делал вид, что читает книжку про американского сыщика. Поднимая голову, он тревожно поглядывал на сундук и ждал, когда мать откроет сундучную крышку, потом испуганно закричит:

— Батюшки, где у меня юбка-то!

Утром мать побежит в милицию, а в милиции ни один человек не догадается, что юбка спрятана за трубой на чердаке. Милицейские станут следить на стороне, присматривать по базарам, отыскивая вора, конечно, ничего не найдут и, наверное, скажут:

— Мы тут не можем справиться, сыщика надо хорошего!

В это время Петька найдет пропавшую юбку, на глазах у всех отдаст ее матери, и все удивятся:

— Ах, чертенок какой! Милиция не могла найти, а он разыскал.

Обрадуется мать и даст за это Петьке денег на кино. В кино он пролезет без билета, а на полученные деньги купит мороженого.

Но мать о юбке не думала и в сундук глядеть не хотела. Тогда Петька, делая вид, что он очень устал, лениво спросил:

— Мама, ты в какой юбке пойдешь к доктору?

У матери болела грудь, ломило ноги, и она сердито крикнула:

— Наряжаться буду! Какую надену, в такой и пойду.

— А ты раньше синюю надевала?

— Ну, да, надену синюю! Последнюю юбчонку стану трепать.

Петька взволновался: выходило не так, как думал он. Если мать наденет старую юбку, то у него не хватит терпенья дожидаться, когда она догадается о пропаже. Но сыщики очень

ловкие люди, во всем всегда находчивы, и Петькина голова заработала по-настоящему, как у настоящего американского сыщика. Отодвигая книжку, сказал он отцу:

— Вчера на Царицынской улице жулики залезли в один дом; сломали замок у сундука и вытащили разной одежды на... пятьдесят миллиардов![1])

— Как они ухитрились? — спросил отец.

— Дом незапертый был.

Тут и мать вспомнила, что сундук у них не запирается, поругала отца:

— Сколько раз я просила тебя, Володимир, купить хороший замок! Помилуй бог, и к нам заберутся—нагишом оставят...

— А чего у нас тащить? — сказал отец.

— Как чего? Сапоги твои утащат, калоши, бельишко подберут, какое есть. Снимут часы со стены, и часы понесут.

— А юбки разве не возьмут? — спросил Петька, делая вид, что он очень устал.

— Все возьмут, не беспокойся! — рассердилась мать.

Отец начал ругаться: недавно он покупал новый замок, неужто опять не годится? Этак денег не напасешься, если каждый день по замку ломать.

Скучно было Петьке слушать разговоры о замке, и он осторожно сказал отцу, чтобы мать скорее про юбку вспомнила:

— А помнишь, папа, как у Гуревичей вытащили из сундука золотые ложки в прошлом году? Искала, искала милиция, так ничего и не нашла.

— Тут не милицию надо, — сказал отец, — а хорошего сыщика, который с малых лет приучен к этому занятию. Нынче жулики хитрые пошли и не для того воруют, чтобы милиции попадаться.

— А сыщики все могут найти?

— Какие сыщики! Если который разинет рот хорошенько, его и самого не сыщешь...

Но мать совершенно забыла про синюю юбку и в сундук не глядела. Тогда Петька в третий раз намекнул осторожно:

[1]) В сентябре 1923 г., когда писался этот рассказ, 50.000.000.000 руб. дензнаками 1921 г. равнялись приблизительно 17 руб. золотом.

— Давеча мальчишка один рассказывал, как нищий из сундука у них юбку украл и шелковый пояс с кистями...

Мать сердито прицыкнула:

— Спи, ложись! Ишь, разговор нашел хороший. Или хочешь, чтобы и нас обокрали?

Спать Петька не мог.

Лишь только заволакивались глаза у него, тяжело смыкая уставшие веки, он усилием воли встряхивал головой, словно в тумане смотрел на все еще не спящую мать, прибирающую комнату, и мучительно ждал: не откроется ли сундучная крышка?

Крышка не открывалась.

Голова Петькина падала на жесткую подушку из куриного пера, и опять засыпал он коротким сном. А когда проснулся от резкого крика, увидел то самое, чего так хотелось: на полу валялось белье, выкиданное матерью из сундука, а около белья на коленях стояла перепуганная мать с растрепанной головой и громко кричала:

— Ну, куда она делась? Куда?

Отец, свесив ноги, сидел на кровати, сердито отдувая обиженные губы:

— Еще чего пропало?

Мать вытаскивала то платок с кофтой, то полотенце с отцовскими исподниками, быстро откидывала в сторону, снова брала, разглядывала, припоминала: все было на месте, не хватало только синей юбки с цветочками.

— Чтоб его паралик треснул окаянного! — ругала она вора. — Неужто он не нашел людей богаче нас? Неужто у него не отсохнут руки-ноги за это самое? Шел бы вон к Дунаевым, чорт,—любую вещь бери: шубы разные, пиджаки, золотые кольца, а он, нечистый дух, последнюю юбчонку утащил. Чего я теперь буду делать без юбки?

— Новую я не куплю!—сказал отец и тут же лег на кровать вверх лицом.—Сама виновата, если в носу у тебя гнезда воробьи вьют...

Петьке стало жалко мать, хотелось сознаться, но бежать на чердак сейчас все равно нельзя, потому что темно там, и крысы бегают, могут ноги укусить. А матери сказать, чтобы

сама сходила, драться будет она, подумает, что Петька нарочно украл. А разве Петька вор? Он никогда не был вором, никогда и не будет.

В это время мать дернула его за руку:

— Петя, Петь! Проснись, сынок!

Петька собрал последнюю силу, чтобы не выдать себя, и сонно спросил:

— Чего?

— Кто у нас нынче в комнате был?

— Когда?

— Когда я в город уходила.

— Это в обед-то?

— Да!

Петька подумал, ковыряя пальцем в носу, и быстро ответил.

— Нищий приходил.

— А ты в это время никуда не бегал?

— Бегал.

— Куда?

— При нищем или после него?

— Да при нищем! — крикнула мать.

Петька запутался.

— При нищем я никуда не бегал, вон тут играл.

— Где?

— На дворе, около крыльца.

— Значит, нищий без тебя в комнате был?

— Угу!..

Мать заплакала.

— Ну, вот, так я и знала! Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты дома сидел, пока я в город хожу. Ведь у меня юбка пропала! Где теперь искать ее?

Петька моментально ободрился.

— А ты под кроватью не глядела?

— Глядела, глядела, у-у, ты мне, противный мальчишка! Готов ночевать весь день на улице...

Мать ухватила Петьку за ухо и так больно проколола ногтем тонкое ухо, что красный сыщик готов был раскаяться, но в эту минуту перед ним встали настоящие американские

сыщики всех видов и названий, в масках, с револьверами, и все в один голос сказали:

— Не робь! Нас тоже немало бьют, это такая должность...

Мать ходила к Татьяне Куракиной в девятую комнату, долго рассказывала о несчастьи, советовалась, как быть, а Петька в это время, хорошо разыгрывая роль, ползал под кроватью. Вытащил оттуда грязную кофту, белую бабью рубашку с короткими рукавами и полосатые отцовские исподники. Заглянул в железную печку, порылся в углах, ласково сказал отцу:

— Папа, встань маленько, можа, она под тобой лежит!

— Лежала да ушла,—нахмурился отец.

В комнату вошли сразу три человека: Татьяна Куракина, Татьянин муж с расстегнутым воротом у рубашки и уличный торговец Дудашкин. Все трое внимательно осмотрели комнату. Дудашкин потрогал гирьку у часов, пальцем ощупал оконную раму, заглянул в маленький шкафчик.

— Посуда-то вся целая?

Чайные чашки со стаканами оказались налицо, не хватало только сахарных щипцов с чайной ложкой, но мать припомнила, что щипцы с ложкой утром еще брала Прасковья из четвертой комнаты.

Татьяна Куракина говорила:

— Чудной больно вор-то! Вещей полон сундук, а он взял одну юбку...

Татьянин муж доказывал, что вору, не иначе, помешали, а то бы он выгрузил все вещи, которые получше. Дудашкин, сонно вздыхая, говорил, что и с ворами бывает затменье такое, или вроде совесть просыпается у них: ничего не взять— неловко, все захватить — жалко, вот они и берут одну вещь, чтобы работа не пропала даром.

— Дурак он! — уже спокойно сердился отец.— Сапоги мои с калошами лежали около сундука — не взял, польстился на бабью юбку, за которую сто миллионов[1]) не дадут...

Совесть Петькина была потревожена. Слушая в темноте, как тяжело дышит расхворавшаяся мать, он готов был сейчас

[1]) 100.000.000 о дензаками 21 г. равнялось тогда 30 коп. зол.

же выйти в коридор, пробраться на чердак, но на чердаке пищали голодные крысы, шумно бегали по лестнице, и сердце у красного сыщика замирало от страха. Если матери рассказать — побьет она, и сам он тогда сразу станет не сыщиком, и все над ним будут смеяться. Лежал Петька в эту ночь горячий, измученный, с разболевшейся головой, а перед ним стояли американские сыщики с революверами и в один голос говорили:

— Чего ты боишься? Найдешь завтра, отдашь своей матери. Спи пока!

— А можа, ее нет там? — подумал Петька.

— Там, куда она денется! Крысы не возьмут...

Утром мать ходила в милицию, домой вернулась расстроенная. В милиции составили протокол о пропаже синей юбки с цветочками, допросили, где юбка лежала, нет ли подозрения на жильцов, и сказали, что дело протянется долго. Видя огорчение матери, Петька решил отправиться на поиски и уверенно успокоил огорченную мать:

— Ты, мама, не тужи! Похожу я по улицам, на базар выйду, и она, наверное, попадется мне. А если там не попадется, буду дома шарить хорошенько: можа, подкинули ее?

Мать только рукой махнула:

— Уйди от меня! Не хочу я говорить с тобой.

Петька вышел во двор, серьезно огляделся вокруг, походил возле забора, заглянул на погребицу. Американские сыщики не сразу находят, не сразу должен и он найти, иначе никто ему не поверит. Расхаживая на цыпочках по двору, он прикладывал палец к губам, внимательно разглядывал следы сапог и ботинок, посидел даже на крыше сарая. Первой заметила его работу Татьяна Куракина, вывалившая отбросы в помойную яму, и весело посмеялась:

— Юбку ищешь?

— А что будет? — спросил Петька.

— Больно ты ловкий, видать!

— Можа, подбросили ее?

— Наверное, жулики глупее нас. Вели отцу новую покупать, да замок повесьте хороший, а рот не разевайте с матерью, чтобы других на грех не наводить...

Но Петька целиком ушел в захватившую игру: она стала для него новой, странно волнующей жизнью, похожей на сказку, и он был уверен, что юбку найдет обязательно, только не сразу. А так как у хороших сыщиков есть помощники, то и Петька взял помощником себе Кузьму хромого, мальчишку из пятой комнаты, и рассказал ему о пропавшей юбке, которую жулики утащили из сундука у матери, посоветовал, как нужно искать, чтобы ни один жулик не догадался, что они красные сыщики, и оба товарища таинственно вышли на улицу. Сам Петька глядел в одну сторону, Кузьма—в другую. Юбка не попадалась, и, вместо жуликов, проходили мимо люди знакомые, на которых никак нельзя было подумать. Тогда старший сыщик с младшим помощником отправились на базар, долго шатались между торговцами, но больше всего жадно глядели на изюм в деревянных лотках, на толстую вареную колбасу с копчеными селедками, на высокие, румяные калачи. Увидели милицейского на углу, покосились издали, быстро повернули направо и прошли прямо на широкий пустырь. Вышли на городскую окраину, заглянули в пустой развалившийся дом с выбитыми окнами, испугались немножко выскочившей оттуда собаки и робко друг другу сказали:

— Вот где, наверное, жулики по ночам сидят!

Поиски продолжались долго.

Кузьма хромой сильно устал, пропотел, проголодался, жалобно говорил:

— Давай бросим! Разве найдешь ее?

Но Петька был неутомим и потащил помощника под городской мост: там иногда в жаркие дни спали городские бездомные бродяги.

Не доходя до моста, услыхали сердитые голоса, и оба враз остановились. Подумали и моментально повернули назад.

— Здесь нет! — сказал Петька, широко раскрывая черные загоревшиеся глаза. — Ее на дворе подкинули.

Дома они еще раз оглядели все углы с закоулочками, вошли в коридор. В коридоре Петька присел на полу и тихо, тихо шепнул помощнику:

— Следы от ног. Видишь?

— Где?

— А вот около тебя...

Присел и Кузьма рядом с Петькой. Он ничего не видел, ничего не понял, но в него вошел сладкий страх любопытства, покоряющий волю, и он, пристально разглядывая серые половицы, так же тихо ответил:

— Вижу.

— А видишь, куда пошли они?

— Куда?

— На чердак.

— А там кто? — насторожился Кузьма.

— Постой, мы их накроем.

— Кого?

— Жуликов.

Оба на минуточку замерли, оба поверили, что жулики там, в изумленьи попятились.

— Ты боишься? — спросил Кузьма.

— А ты?

— Я боюсь.

Петька решительно тряхнул головой.

— Днем я ничего не боюсь!

Он смело шагнул по лестнице, таинственно зашептал оттуда стоявшему внизу товарищу:

— И здесь следы! Иди, не бойся. Разве станут жулики сидеть всю ночь на одном месте? Бросили юбку и ушли давно.

А когда поднялись на чердак, вытягивая шеи, Петька сказал уже совсем другим голосом, как настоящий сыщик, прижимая руки к сердцу:

— Ну, теперь давай искать хорошенько. Ты гляди в той стороне, я буду в этой. Громко не кашляй.

Но не успел Кузьма двинуться с места, охваченный жутким страхом, как Петька проворно нырнул за трубу в темный уголок и весело оттуда крикнул, помахивая над головой распущенной юбкой:

— Вот она!

С чердака он чуть кубарем не скатился, сильно хлопнул дверью, вбегая в комнату, и, возбужденный, загоревшийся радостью, бросился к матери:

— Мама, нашел!

Мать поверила не сразу.

— Где она была?

Кузьма, хромой мальчишка, заикаясь от волненья, рассказывал:

— Мы, тетенька, везде были, везде искали! И базаром прошли, и за городом бегали — никак не попадалась она нам. А пришли домой, она нам и попалась на чердаке у вас. Это все Петька нашел...

В комнату собрались женщины. Все видели найденную юбку, все разглядывали Петьку, громко говорили про жулика:

— Он, видно, побоялся кого-нибудь и залез туда спрятаться.

— Как же он ушел оттуда?

— Ну, матушка моя, жулик да не уйдет: они приучены к этому.

— Вот так Петька! — говорила Анна Балабохина, разглядывая красного сыщика.—Теперь и в милицию не ходи, коли свой такой находится.

— И надо же догадаться такому сопляку! — дивилась Прасковья из четвертой комнаты.—У большого ума не хватит.

— Не так скажи! — спорила Анна. — Они, маленькие-то, лучше чутье имеют. Большому совсем невдомек от нынешней жизни думать об этом, а маленький живо догадается.

— Не каждый маленький, — сердилась Пелагея. — Всякие ребятишки есть: который половчее, который ничего не смыслит. Пошли вон моего Гришку, он и себя потеряет — искать придется два дня.

Мать с гордостью глядела на ловкого сына, а он, с чувством превосходства над всеми в мире ребятами, весело шмыгал пропотевшим носом:

— Мама, дашь мне на кино за это?

ДЫРДОСКА

1

Из Богатова возвращались под вечер теплым, засыпающим проселком. Яшка Кутанай, молодой, веселый озорник, подпоясанный обрывком веревки, широко размахивал палкой, сшибал головки цветов. Молек, невзрачный кривоногий обрубок в заячьей шапке, торопливо шмыгал носом, вытирая губу одним пальцем. Шли молча, оглядывая пустые осенние поля в серых надвигающихся сумерках. Когда поднялись на бугорок, Кутанай сказал:

— Ре-Се-Фе. Знаешь это?

Молек покачал головой.

— Где же я знаю?

— А еще Экосо. Тоже не знаешь?

— Ну, скажи.

— Сразу ты ничего не поймешь. Надо с точки зрения посмотреть. Например, губэвак, зампредгуб, начпур, хозмер Вцик.

— Откуда ты все знаешь? — перебил Молек, разгляды Яшку.

— Все никто не знает.

— Почему?

— Потому что башку здоровую надо. Если б половину хотя, я бы теперь и пешком не ходил. найдется у тебя?

Молек выворотил карман у штанов, вытря последние крошки.

— Бумагой я не напасусь, и табаком из целый день.

Яшка, затягиваясь даровщинкой, громко сказал:

— Главбум!

— Это чего значит?

— Тут сокращение большое, и сразу ты все равно не научишься. Я, понимаешь, два года не мог рентировку сделать. Читаю газету, ничего не выходит: встанет бревном поперек какой-нибудь тираж с комхозом — опять начинай сначала...

Говорил Яшка без улыбки, наваливая на Молька тяжелые, непонятные слова, а он тащил их покорно, ниже нахлобучивал шапку, встряхивая одуревшей головой, и только, взглядывая на Яшку, спокойно размахивающего палкой, неуверенно спрашивал:

— И кто, скажи на милость, выдумал такую оказию?

— Большевики.

— Зачем?

— Полагается так. Старый режим, который при царе, они не желают и говорят теперь по-другому. Раньше—волость, теперь — исполком.

— Ну?

— Вот и гляди, к чему клонится такой порядок. Я грамотный, разбираюсь маленько, а ты неграмотный—тумак-тумаком. Поезжай сейчас в город по общественным делам, — все лестницы облазишь, прежде чем на линию попасть. Значит, должны все грамотными быть, ликвидацию сделать.

— Все-таки трудно теперь нашему брату!—вздохнул Молек.

— Потому и трудно, что мы не эркапе.

У Лозовской усадьбы Яшка неожиданно остановился, показал пальцем на старый двухэтажный дом.

— Зайдем пошарить, можа, попадет чего.

— Мне бы два гвоздя вот таких! — сказал Молек.

— Идем, я тоже штуку одну давно подыскиваю...

Крапивой, через упавшие плетни, они осторожно подошли к молчаливо стоящему дому с выбитыми окнами, быстро прыгнули в большую полутемную комнату. Покружились немного, перешли в узенький коридор. В углу валялась сорванная доска, покрашенная желтой краской, с круглым отверстием. ...ек покосился на нее вспыхнувшим хозяйским глазом, ...ногой, перевернул на другую сторону, подумал — ... взять, начал искать гвоздей.

Яшка поднял доску, крепко прижал под-мышкой, как драгоценную находку.

Когда вышли обратно, Молек, увидя в руках у Яшки круглую крашеную доску с круглым отверстием посредине, беспокойно спросил:

— Чего это такое, я не понял хорошенько?

Яшка, разжигая любопытство, сказал:

— Вот видишь, что значит наша неопытность! Это же дырдоска.

— Какая?

— Не знаешь?

— Ну, скажи.

— Как я скажу, если ты не понимаешь?..

Молек насторожился.

Месяц, стоящий над Лозовскими гумнами, светил прямо на Яшку, несущего под-мышкой круглую крашеную доску с круглым отверстием.

В кармане у Молька лежала пара гвоздей, которые недавно еще казались дороже жены с ребятишками, а теперь гвозди не радовали. Мысли от досады путались, короткие кривые ноги спотыкались.

Яшка спокойно поддразнивал:

— Сколько я искал такую доску! Думал, умру без нее, а она сама на глаза попалась нечаянно. Все-таки, здорово я угадываю, понимаешь? Совсем не хотел заходить, а в уши шепчет кто-то, ровно человек: „Зайди, можа, дырдоску найдешь“.

Зимняя заячья шапка давила голову Мольку стянутым обручем, глаза неотразимо тянулись к странной непонятно[illegible] дырдоске. Шмыгая носом, вытирая губу одним пальц[illegible] вспомнил Молек, что и он всю жизнь искал такую до[illegible] только назвать не умел.

А Яшка опять говорил:

— Я думал, ты возьмешь ее первый. Гляжу, а [illegible] гвоздями погнался. Ну, думаю, он ничего не понима[illegible] деле...

Оглядывая дырдоску со всех сторон, пр[illegible] даже на шею надеть ее, и шел с дырдоской н[illegible]

бык в деревянном хомуте. Для Молька в этом самоуверенном спокойствии хозяина была величайшая пытка, режущая сердце на мелкие кусочки. Минутами он готов был вцепиться в Яшкину шею, подмять Яшку под себя, придавить к земле, если будет брыкать, и—

дальше мысли не шли,
свивались клубком.

Яшка и ростом выше и кулаками здоровее, и маленький невзрачный Молек, на кривых ногах, прятал вспыхнувшую злобу в ласковой непривычной улыбке.

— Чудной ты все-таки, Яков!

— Почему?

— Разные слова произошел. Ну, зачем тебе эта доска?

— Эта?

— Да.

Яшка остановился, постукал по доске твердым, почерневшим ногтем:

— Если бы ты знал, что я сделаю из этой дырдоски, ты бы от зависти сдох.

— Говори!

— Эге, хитрый какой. Сделаю через месяц — увидишь...

Шел Молек измученный, щупал в кармане пару гвоздей, которые теперб не радовали, с тоской ругал себя, не раскрывая губ:

— Сам глядел, чорт, на нее, из рук упустил.

В улице, подходя к домам, спросил в последний раз, разглядывая находку:

— Ты, сам-деле, хочешь чего сделать?

— Сделать, может быть, не сделаю, — лениво ответил Яшка, — а в городе продам обязательно...

— Кому?

— Чудак! Да эту самую штуку только покажи разной буржуазии — с руками оторвут. Ты знаешь, без ее им пропащее дело. Или комиссару нашему подарю...

— Ему-то зачем? — крикнул Молек.

Улыбнулся Яшка, собирая морщинки около озорных мясистых губ, и в темноте, освещенный месяцем, задумчиво сказал:

— Ему, наверно, всех больше нужна для своего удоволь-

2

Ночь прошла в тревоге.

Как только закрывались глаза, утомленные долгим раздумьем, вплотную подходила отчаянная, непонятная дырдоска с круглым отверстием посредине, сама надевалась Мольку на шею, и шел он с ней под месяцем в осенних умирающих полях, как и Яшка Кутанай, веселой размашистой походкой, а все говорили, показывая на него:

— Вот кому счастье подвалило!..

А когда открывал глаза Молек и долго прислушивался к неясному звуку в ушах, переваливаясь на другой бок, шел с доской на шее уже не он, Молек, а Яшка Кутанай, и головки дорожных цветов сшибал не он, Молек, а Яшка Кутанай.

Нет, и это не самое главное...

Самое главное заключается в том: зачем на свете есть такая дырдоска, и чего из нее можно сделать? Поднимаясь, подолгу сидел Молек на кровати, шмыгая носом, плевался, сердился, страшно хотел спать и все-таки не мог уснуть. В самую полночь навалилось удушье. Хотел подняться Молек, а это совсем не удушье: дырдоска придавила огромной тяжестью, и никто, никакая сила не может сбросить ее. Напугался Молек и заплакал во сне, будто маленький, ребячьими слезами.

Баба рядом крикнула:

— Павел!

Изба тонула во мраке, и в голове разболевшейся стоял тяжелый угнетающий мрак. Проснулся Молек, оглядел избу мутными непонимающими глазами и даже не рад был, чт связал себя мыслями с окаянной дырдоской, у котор ничего не поймешь, но стояла она перед глазами, бу живая, и думалось о ней с мучительной, сладкой болью.

Рано утром Молек собрался сходить к Яшке, пого окончательно, но не дошел. Дорогой его осенила мысль — надо рассказать кой-кому. Если будет то Яшка, нажать всем обществом на него, ибо барск принадлежит теперь всему народу, а Яшка дырдо в этой самой усадьбе. И не один нашел. Прав догадался поднять ее первым, но это вышло по

потому что он разных хитростей не произошел и никого никогда не обманывал.

В полдень около Яшкиной избы стали собираться мужики, всем хотелось увидеть диковинную штуку, попавшую в Яшкины руки, и никто не мог этого сделать. Сам Яшка не показывал находку, хитро складывал губы, мотал головой.

— Чего глядеть-то! Нашел, значит, счастье мое...

Выпустили ходока, Петра Аверьяныча, человека надежного, чтобы он допытался хорошенько. Выйдя от Яшки, Петр Аверьяныч сказал успокоительно:

— Пустяки! Простая доска...

Ему не поверили.

Сюнькин Захар окинул ходока злобно горевшими глазами, мрачно поднял палец над головой.

— Знаем мы такие подвохи! Наверное, в ручку плюнул ему...

Мужики расходились, ругались, опять грудились кучей, спрашивали Молька:

— Какая она?

Теперь Молек и сам не помнил—какая: вчера будто круглой была, с круглым отверстием посредине, а сейчас припоминалась продолговатой, с двумя петельками. Впрочем, и этого не помнит Молек хорошенько, не разглядел в темноте: или это доска была, или вроде ящика. Когда он хотел дотронуться, чтобы узнать, Кутанай сказал ему:

— Нельзя трогать, испортить можно.

Кроме того, Яшка хвалился все время: я, говорит, могу в городе продать ее за большие деньги или комиссару нашему подарить для разного удовольствия...

Степан Базла осторожно спросил:

— Играет, что ли, она?

— Кто?

— Эта штука-то. Трубы у нее нет?

— Какая тебе труба? С печки свалился!..

А Базла опять говорил:

— Если она с трубой, которая играет, это, не иначе, грам... Раньше полагалась такая забава при старом режиме... ...теперь куда ее?

— Теперь Яшка будет играть. Заведут пружину, Матрену плясать заставят.

— Это он, наверно, шкатулку нашел! — кричал Николай Скачков. — Ну, только все равно без денег.

— Почему без денег?

— Потому что этого не могло быть, дураков теперь немного осталось, и я никому не поверю, чтобы шкатулку с деньгами оставить...

— Мы не были там, можа, есть маленько...

Говорили.

В полдень и до самого вечера крутилась потревоженная улица. Мужики собирались кучками, крякали, чвокали, разводили руками. Когда Молек вернулся домой, Матрена-жена сказала ему:

— Неужто ты маленький был, если она под ногами валялась!

Нельзя человека сердить, а Матрена опять долбила:

— Люди вещи хорошие приглядывают, а он два гвоздя притащил, которые в стену не воткнешь. Ешь вот их, гляди на них...

Мал ростом Молек, но кулаками здоровый. Залепил в сердцах Матрене по левому уху, чтобы нутро не потрошила. Мало, еще хотел — тут и Матрена сдачи дала. Не так уж больно, но здорово обидно — прямо сверху накрыла.

— Ты что, драться? — спросил Молек.

— Сам налетаешь, не лезь!

Потом Матрена с криком выбежала из избы в разорванной кофте, а Молек бежал без шапки за ней, с тяжелым тупым косырем в руке, и чувствовал: сейчас он убьет ее, ибо терпеть больше нельзя.

Навстречу из Семочкиного переулка вышли сразу двое: комиссар военного отдела лозовского волисполкома товарищ Панюрчиков и лозовский милиционер Гришка Барабан. Оба были при леворвертах, оба взглянули на Молька удивленными глазами:

— Как! Убийство на улице!

— Задержи! — сказал товарищ Панюрчиков.

Гришка Барабан неистово крикнул:

— Стой!

Молек остановился.

— Почему у тебя косырь в руках? — спросил комиссар военного отдела.

— Это, товарищ, не ваше дело: я — муж, она — жена...

Собрались мужики с бабами, девки, парни, и стоял Молек в этом кругу точно воробей, сшибленный камешком с крыши — маленький, кривоногий, бескрылый. Гнев, гнавший по улице, скоро утих, ноги ослабли, и смотрел он на народ робкими непонимающими глазами.

Товарищ Панюрчиков сказал горячую речь о том, что Советская Федеративная Социалистическая Республика, свергнувшая империализм и буржуазию, дала женским элементам равноправие на ряду с мужскими элементами и на всей территории поставила женотделы с социально-политическими функциями...

Молек ничего не понял.

А когда кончилась речь, Гришка Барабан взял его за руку:

— Идем!

— Куда?

— Арестован ты на трое суток.

Молек встрепенулся.

Гришка Барабан ухватил его за шиворот:

— Не сопротивляйся при моих служебных обязанностях — хуже будет...

— Ну, пусти! — сказал Молек. — Я сам пойду.

Украдкой из чужой калитки глядела Матрена на маленького кривоногого мужа, уходящего в исполком; сзади разговаривали мужики:

— За что его?

— Доску украл...

— Где?

— Разберут там, не наше дело...

На том месте, где товарищ Панюрчиков произносил собравшимся речь, валялся косырь, выпавший из дрогнувших рук оробевшего Молька. Поднял его Николай Махров, проходивший после всех, оглянулся, сунул в карман и был очень доволен: [illegible] попало счастье среди белого дня!..

ШКРАБЫ[1])

1

Осень.

Над полями летят журавли косым треугольником, в сухом, прозрачном воздухе висит паутина. Теплый вечер кладет косое крыло на низкие крыши, беззвучно волочит его дальше — в гору, где в лучах закатного солнца вспыхивает ржаная солома на гумнах. Скотный барский двор с каменными столбами пусто смотрит черными раскрытыми воротами, как черным разинутым ртом, и в них с горы, с похолодевших гумен, неторопко спускается мягкая безветренная ночь.

Головтеевский учитель Сергей Иваныч Пирожков режет ножницами табак-махорку мелкой окрошкой. Табаку на школьном огороде уродилось пятьдесят восемь курней, и лицо у Сергея Иваныча очень довольное. Напевает он вполголоса Интернационал, свертывает папироску потолще из зеленой душистой махорки и думает о том, насколько ему хватит табаку, если курить пятнадцать раз в день? Есть у него помидоры с огурцами и десять пудов ржаной муки, заработанной нынешним летом. Может быть, головтеевские мужики привезут во-время дров, вставят во-время стекла в худых перебитых окошках, поправят печь, а УОНО[2]) положит жалованье рубля четыре в месяц — тогда Сергею Иванычу можно жениться.

Густо пахнет свежей махоркой со стола, в углу на кровати сонно мурлычет большой, серый кот. В комнате с двумя окнами горит керосиновая лампа привернутым фитилем. Ходит Сергей Иваныч из угла в угол, попыхивая душистой самосадкой, и думает все о том же — об одном и том же...

Хорошо, что табаку хватит на четыре месяца, хорошо и то, что есть помидоры с огурцами. Что же будет дальше — никому

---

1) Школьные работники.

2) Уездный Отдел Народного Образования.

не известно. Вообще, надо меньше думать об этом. Возможно, что УОНО положит жалованья не четыре рубля, но больше. И брюки с пиджаком продержатся не полгода, как предполагает Сергей Иваныч, а больше.

А вот и учительница Катерина Васильевна стоит на пороге, повязанная белым платочком. Табаку у нее нет, и помидоры с огурцами она не сажала, но сегодня ей принесли в подарок восемь арбузов, четыре дыни и две огромных тыквы. Зимой из тыквы можно печь пироги с начинкой, а из корок тыквенных получается очень густой, очень крепкий чай, не хуже китайского.

Человеку совсем немного надо, и Катерина Васильевна греет комнату головтеевского учителя счастливой улыбкой.

— Знаете что? — говорит она. — Мне сегодня хочется погулять.

— Почему же сегодня? — спрашивает Сергей Иваныч.

— А вот так!.. Хочется и — все. Желаете, я угощу вас тыквенным пирогом?

Катерина Васильевна садится за стол, нюхает душистую махорку сморщенным носом, чихает, смеется, весело говорит:

— Крепкà!

Ну, вот и вопрос.

Катерине Васильевне хочется погулять, а почему головтеевскому учителю не быть настоящим кавалером, как в городе? У него пятьдесят восемь курней табаку, кадушечка огурцов, кадушечка помидор и десять пудов ржаной муки, заработанной нынешним летом. Но это не все. Главное, ему необходимо жениться и жить хорошей семейной жизнью с той самой девушкой, которая так похожа на Катерину Васильевну: характером, ситцевым платьем, белым платочком и веселым звонким смехом.

Минута раздумья.

Сергей Иваныч накидывает пиджачок с заплатанными рукавами, надевает зеленую фуражку, купленную по случаю у прохожего человека, ловко подсовывает Катерине Васильевне городской фасонистый кренделек, и в тишине головтеевской ночи, тайно влюбленные, идут они мимо уснувших берез за церковной оградой.

Чиркает месяц коротким, изогнутым рогом по темному небу, ярко загорается крест на колокольне тоненькой свечкой. Потом опять висит над землей тяжелая туча с широкими рукавами. Спит поповский дом с застывшими окнами, спит земля и черная пустая скворешня над школьным крылечком. Только рядом, вот тут, под ситцевой кофточкой не спит девичье сердце, наполненное радостью от молодости, от полученных в подарок арбузов с тыквами. Чувствует Сергей Иваныч, как и у него бьется сердце, и хочется ему, чтобы два биения были в одно, и две радости слились в одну радость.

Кладбищем, мимо поломанных крестов, идут молча, выходят на Бураковскую дорогу и по мягкому остывшему песочку дружно, плечом к плечу, шагают в гору — туда, где барская разоренная усадьба, старые многолетние березы под окнами.

Трудно подходить к настоящей, полной жизни, когда два биения — в одно, и две радости — в одну, а все-таки надо начинать, ибо это неизбежно, все равно придется начать, и Сергей Иваныч говорит мягким встревоженным голосом:

— Знаете, сколько табаку у меня уродилось нынешний год?

— Да?

— Пятьдесят восемь курней.

— Ох, вы совсем богатый человек! — улыбается Катерина Васильевна.

— И ведра четыре помидор.

— Четыре?

— Угу.

— Хорошая помидора?

— Очень хорошая!

Громко вскрикивает гусь на реке, в Головтееве подвывает собака. Сверху из-за черного облака выглядывает месяц кривым пожелтевшим носом, в траве у плетней мяукает брошенная кошка. Катерина Васильевна ласково говорит, прижимаясь плечом:

— Ночь какая тихая! Правда?

— Очень тихая! — отвечает Сергей Иваныч. — Будто нет никого, и мы только двое на всей земле. Идем вот здесь, по этой дороге, и никто не знает, о чем мы думаем...

— Я знаю! — улыбается Катерина Васильевна.

— Вы?

— Да.

Маленькая ладонь в дрогнувшей руке Сергея Иваныча становится горячей.

— Неужели вы знаете, о чем я думаю?

— Знаю.

— Ну, скажите!

— Не скажу.

— Тогда и я знаю, о чем вы думаете!—улыбается Сергей Иваныч.

— Знаете?

— Знаю.

— Подождите!

Катерина Васильевна высвобождает руку и в темноте, только под узеньким месяцем, быстро-быстро вертит пальцами, чтобы попасть пальцем в палец. Если попадет, значит правда. Ворожба не сбывается, и Катерина Васильевна, скрывающая радостную тайну, хитро посмеивается.

— Не выдумывайте, пожалуйста, ничего вы не знаете!..

Хорошо итти вот так, по Бураковской дороге, плечом к плечу, чувствовать друг друга, смеяться и совсем не думать о худых невставленных окнах. Хорошо нечаянно локтем толкнуть одному другого, на минуточку заглянуть в глаза, увидеть в них спрятанные мысли и сейчас же сделать вид, что ничего не видно, и никто на всей земле, ни один человек не знает, о чем они думают. Всегда бы вот так—плечом к плечу, рука с рукой—и год, и два итти, и целую жизнь.

А когда приходят в барскую усадьбу, садятся на скамеечку под слабо трепещущими березами, проколотыми месяцем, получается просто, легко и не страшно.

— Вам холодно?—спрашивает Сергей Иваныч.

— Нет, мне не холодно!—отвечает Катерина Васильевна.

— Нет, вам холодно! — упорно беспокоится Сергей Иваныч.—Сядьте вот так! Не так, не так! Возьмите мой пиджак.

— А вы?

— Я могу без пиджака.

— Сергей Иваныч, вы же простудитесь!

— Ничего подобного! Разве можно простудиться около вас? Мне совершенно не холодно. Да, да! Положу голову вот так— мне и не холодно...

Он, совсем будто нечаянно, целует ее в левую щеку, торопливо говорит:

— Ну, вот! Ругайте меня, такого дурака...

Катерина Васильевна молчит, улыбаясь украдкой.

В бурьяне у прогнившей веранды путается месяц на тонких переломанных ногах, ползает котенок с длинной золотистой шерстью. Вверху над скамеечкой перешептываются березы. Прямо на колени Катерине Васильевне падает холодный листочек. Прижимает она его к вспыхнувшим губам, чуть-чуть поворачивается и—опять улыбка—прямо в лицо, в самое сердце Сергею Иванычу.

— Катенька, милая, да?

— Да.

Есть весеннее солнце и темной ночью в сентябре, и светит оно особенно ярко только раз во всю жизнь, когда два биения — в одно, и две радости — в одну.

Молодо, горячо открывается Сергей Иваныч, словно на исповеди. Пусть все, все до капельки знает эта девушка, сидящая рядом с ним на скамеечке в старом, опять зацветающем, шумно поющем саду. Любви случайной, на один день, на одну неделю он не хочет. Ему нужна не женщина, как женщина, а женщина-друг, женщина-подруга, с которой можно радость разделить и горе выпить пополам. И нет ни одной девушки лучше Катерины Васильевны. Нет ни одних глаз лучше вот этих, ни одной улыбки лучше этой. И все ему нравится в ней, решительно все: и характер, и сердце, и ум, и белый платочек на голове, и даже (это нисколько не смешно!), даже маленький пальчик-мизинчик с обкусанным ноготком, потемневшим от черной работы. Молодец пальчик-мизинчик! Он работает, много работает, и такой именно пальчик и нужен Сергею Иванычу, чтобы совместно работать вдвоем. Каждый человек бывает раз в жизни поэтом, вот и он, Сергей Иваныч Пирожков, тоже поэт. И если Катерина Васильевна не станет смеяться над ним, тогда совсем не страшно. У него имеются помидоры с огурцами, десять пудов ржаной муки, заработанной

нынешнем летом, и упрямый мужицкий характер. Был голод—пережил. Была болезнь—вылежал. А с Катериной Васильевной вынесет и не это. Конечно, УОНО положит жалованья не четыре рубля, но больше, и они займутся самообразованием: выучат кое-что из Карла Маркса, познакомятся с „материализмом“. Теперь нельзя без этого, необходимо знать политическую программу. Сам Сергей Иваныч — не коммунист, но желает работать с коммунистами на общую пользу. Хочет ли этого Катерина Васильевна?

Пронизанная радостью, она отвечает:

— Да! Вместе с тобой.

Вот и все.

Надо только любить друг друга, ценить, уважать, поддерживать в трудную минуту, как добрым друзьям, и тогда совсем не страшно будет в глухих головтеевских полях.

И опять отвечает Катерина Васильевна, пронизанная радостью:

— Да!

А потом, возвращаясь с барской усадьбы, где два биения в одно, она говорит обиженным голосом:

— Слушай, Сережа, Панкратовы нарочно прислали мне арбузов с тыквами, чтобы унизить...

— Тебя?

— Ну, конечно! Они же знают, что у меня нет ничего, и если арбузы окажутся зелеными, значит, обязательно—насмешка тут. Давай на будущий раз ничего не брать от мужиков, чтобы не расстраиваться после...

Становится тихо и грустно.

Медленно налезает мохнатое облако на вспыхнувший месяц, режет его надвое черным заостренным крылом, торопливо прячет под себя. Слышно в темноте, как в дому у дьячка жалобно плачет ребенок. У Сергея Иваныча с Катериной Васильевной тоже будет ребенок, станет плакать вот так же, в эту пору, а мужики нарочно принесут зеленых арбузов. УОНО положит жалованья не четыре рубля в месяц — только три — вышлет их через три месяца, сердито скажет:

— Слушайте, гражданин Пирожков, что вы знаете о Карле Марксе?

— Ты о чем думаешь, Сережа? — мягко спрашивает Катерина Васильевна.

— Так, пустяки! — встряхивает головой Сергей Иваныч. — Тыквы с арбузами мы обязательно выкинем к чорту и, если надо будет, посеем своих на будущий год.

Но дома, в маленькой комнатке, сидя на кровати в одиночку, думает он все о том же, об одном и том же:

— Можно ли ему иметь ребенка?

А голые стены, голый непокрытый стол, кучка рваных букварей на столе отвечают ему:

— Нет, нельзя! Это преступление.

— Преступление?

— Да.

Что же ему делать, если не хочет он любви случайной, на один день, на одну неделю?

Молчат голые стены, молчат буквари на столе.

В окно пробивается светлая полоска.

Утро.

На дворе у попа с дьячком поют петухи.

2

Устал Сергей Иваныч, ослаб неожиданно. В полдень пишет письмо:

„Многоуважаемая Катерина Васильевна! Сегодня ночью мы объяснились в любви. Вам известно мое отношение, которое вы наблюдали, но, как честный человек, я должен предупредить вас, что — .“

Сергей Иваныч ставит тире и точку, потом еще тире и точку и так дописывает всю строку: тире и точка —.—.—.—.

Сидит неподвижно, прижимая лоб левой ладонью. Глупо смотрит в окно на попова теленка и упорно думает о теленке: сколько в нем пудов, если зарезать его на мясо? Почем дадут за пуд, если продать это мясо на базаре? Сколько можно выручить денег? Денег получается много, целая куча и все новенькими бумажками. Вдруг поднимается ветер, раскидывает бумажки в разные стороны, и несколько миллионов через худые, невставленные окна залетают в комнату головтеевского

учителя. Сергей Иваныч выписывает книжек, занимается самообразованием: нельзя теперь без этого. Надо выучить кое-что из Карла Маркса, познакомиться с „материализмом“. А теленок вскидывает задние ноги, задирает грязный хвост и несется мимо школы от большой, громко лающей собаки.

На кровати, растянувшись, валяется серый кот с прокушенным ухом.

Встряхивая головой, Сергей Иваныч пишет:

„—.—. любить нам друг друга нельзя, потому что я не имею материальной возможности, чтобы содержать ребенка. Прошу не сердиться на меня и понять мое нравственное состояние. Я думал об этом целую ночь и пришел к убеждению, что не имею права обманывать вас. Если вы не будете сердиться на меня, вы придете ко мне сегодня вечером, и мы поговорим обо всем, как добрые друзья. Помните? А если не придете, я увижу, что вы рассердились, но я очень и очень прошу вас не сердиться. До свиданья. Уважающий вас Пир-ов“.

Сергей Иваныч тягостно смотрит на слово „уважающий“, на слово „Пир-ов“ и совсем неожиданно рвет письмо на мелкие клочья. Долго ходит по комнате, останавливается около двери, манит кота. А когда кот, прыгая с кровати, трется около Сергея Иваныча, выгибая спину, он беззлобно выталкивает кота в сени.

Опять пишет, но уже маленькую, совсем маленькую записочку:

„Милая Катенька! Приходи немедленно, мне нужно поговорить по очень серьезному делу. Твой Сергей“.

На пороге стоит сама Катерина Васильевна, повязанная белым платочком. Глаза у нее вспыхивают молодым, задорным блеском, смеющиеся зубы блестят. Сейчас она была за церковью, нарвала там пучок молоденького полынку, связала его в маленький веник и маленьким душистым веником пришла убрать неубранную комнату. Она, конечно, знает, что все мужчины ужасные неряхи, и вот тому примеры: почему паутина в углах? Почему окурки на полу? Почему белье под кроватью? Ой-ей-ей! Такие дела ей не нравятся, и она немедленно примется за работу. Только что за записка лежит на столе у Сергея Иваныча? Кому он пишет любовные письма? Можно посмотреть?

— Так, пустяки! — неохотно отвечает Сергей Иваныч.

Катерина Васильевна два раза перечитывает маленькую записочку, встревоженно смотрит на Сергея Иваныча.

— Серьезное дело? Какое?

— Так, пустяки! Ты узнаешь после...

Долго молчали.

Катерина Васильевна свертывает записочку трубочкой, обрывает ей уголки, грустно смотрит на душистый полынковый веник, брошенный у порога, и вдруг поднимается, горько обиженная. Сергей Иваныч берет ее за руку:

— Не сердись! Мне нужно поговорить...

— О чем?

— Я сейчас скажу.

— Ну, говори!

— Садись!

Ходит по комнате Сергей Иваныч и, словно урок повторяя, рассказывает о том, что жениться им нельзя, потому что нет материальной возможности. Вопрос этот надо отложить до тех пор, пока не выяснится окончательно: положит ли УОНО жалованье и в каком размере.

Катерина Васильевна не верит: она же совсем не такая женщина, которой нужен богатый жених. Она прекрасно понимает, что они бедные люди, но неужели совсем нельзя жить бедным людям? Ведь, вчера Сергей Иваныч сам говорил, что им не страшно вдвоем, и будут они поддерживать друг друга, как добрые друзья. Ну, ну, ну!.. Катерина Васильевна совершенно не знала, что он такой трус и так скоро отказывается от своих слов. Вот она не боится нужды и все уже высчитала наперед. Да, плохо! Да, трудно! И все-таки она не такая, чтобы падать духом. Если же не любит ее Сергей Иваныч, не нравится она ему, тогда другое дело, и она не станет напрашиваться насильно. Пусть он успокоится и выбирает себе другую невесту, которая нравится больше...

Щеки у Катерины Васильевны наливаются горячим румянцем, губы дрожат. И нет в эту минуту ни одной девушки прекраснее ее, ни одна девушка не говорила так искренно. Загораживает ей дорогу в дверях Сергей Иваныч и торопливо, громко и шопотом приносит самые страстные, горячие клятвы, что

любит он только ее, только одну ее и готов войти с ней в любую жизнь — самую разоренную, и, любя друг друга, в двое рук устраивать эту жизнь, опустошенную голодом, войной и невежеством... Надо только подумать... Честное слово, надо подумать о ребенке!.. Не может он, Сергей Иваныч, как порядочный человек, обманывать другого человека, не имея материальной возможности...

Катерина Васильевна роняет две слезинки — уже не горечи и обиды — сами выкатились из глубины застучавшего сердца.

— Перестань, Сережа, брось!..

И опять хорошо.

И опять хочется громко смеяться и бить глупого Сергея душистым полынковым веником по рукам, чтобы не лез обниматься. Ну, какой он глупый! Какой он смешной! Неужели бедным людям совсем нельзя жить. Для чего же тогда молодость? А эти руки, которые все могут делать. А эти глаза, которые всему смеются. Так, без причины смеются, потому что хочется смеяться. Ребенок?

— Брось, Сережка, не болтай!

Катерина Васильевна в беленьком платочке — настоящая хлопотунья - хозяйка. Подвязалась стареньким фартуком, чтобы не перепачкать последнюю, прости господи, юбчонку, засучила рукава, насадила душистый полынковый веник на ухватный черенок и ловко так, проворно обметает потолок, голые стены и нарочно, нечаянно будто, тычет в бок смешного Сергея ухватными рожками.

— Ой! Ушибла я тебя?

Хочется Сергею Иванычу, чтобы Катенька еще разок толкнула его нечаянно, но она отгоняет прочь, гонит из комнаты в школу.

— Иди, иди! Пересчитай там книжки.

А сама подтыкает юбку повыше, моет, старательно моет пол, прикалывает на стену картинки из уцелевших журналов за 1904 год и, когда все готово, ласково кричит в приотворенную дверь:

— Сережа!

— Да?

— Можете удивляться.

Сергей Иваныч удивляется долго и никак не может поверить: потолок не его, пол не его, стены не его и кровать не его. Откуда картинки взялись? Откуда наволочка свежая на подушке? А откуда столько солнца в маленькой, просветлевшей комнатке? И окошки наполовину замазаны газетной бумагой, и день немножко пасмурный, тучки по небу ходят, наверное дождик будет, а в комнате горит и светит невидимое солнышко. Это в глазах оно, в глазах у Катеньки, Катерины Васильевны.

— Милая! Милу́шка! Да?

— Угу!

Целует ее Сергей Иваныч в теплые, смеющиеся губы, весело машет руками.

— Новоселье, так новоселье! Садись на это место, отдыхай, а я поставлю самовар. Нет, нет, не вставай, я сам поставлю... Сиди!

Он громко стучит самоварной трубой, опрокидывает самовар разыгравшимися ногами, быстро вытирает тряпкой пролитую воду, шумит, дурачится, празднично подпевает:

Свое-ю собствен-ной ру-кой!

Вот и свадьба, свадебный стол после долгих сомнений: густой морковный чай без сахара, мягкий ржаной хлеб, заработанный нынешним летом, вкусные, просоленные огурцы, кровянистые помидоры, посыпанные перчиком, и кусок уцелевшей селедки из головтеевского кооператива. Можно жить бедным людям, надо только любить друг друга, ценить и уважать...

Разглядывая себя в непрочищенном самоваре, Катерина Васильевна говорит:

— Завтра обязательно песком вычищу его. А зеркало есть у тебя, Сережка?

— Было где-то вот такое.

Смех.

— Покупать не будем?

— Зачем его?

— Налить тебе еще стаканчик?

— Налей!

Вот и свадьба.

По вымытому полу важно ходит большой серый кот, трется в ногах под столом, сладко мурлычет. Ему дают селедочные кости — пусть угощается, такие праздники не часто бывают. Катерина Васильевна берет кота на колени, гладит ему теплую спину, пристально смотрит в зеленые прищуренные глаза:

— Ох, ты Васька, Васька, Василий Котович! Не будешь меня царапать?

Сергей Иваныч тоже говорит коту, показывая на молодую жену:

— Знаешь, кто это? То-то!

А вечером перетаскивают богатство Катерины Васильевны: сундучок с поломанной корзинкой, два чугунка, старые ботинки, которые можно починить, железную кровать на деревянных ногах, бумажную коробку из под изношенной шляпы и большую связку книг — повести с романами — приложение к Ниве.

— Вот так мы! — говорит Сергей Иваныч, нагибаясь под ношей.

— Брось, Сережа! — дергает его за рукав Катерина Васильевна. — Поп в окошко смотрит...

— А плевать мне на него!

— Тише дурачься, нехорошо.

— А чихать мне на него!

Вот теперь по-настоящему: два биения — в одно, и две радости — в одну...

3

Осень.

Длинная головтеевская осень с черными вечерами. Дует ветер, льет дождь, глухо позвякивает оторванное железо на поповской крыше. Поп Алексей в серых мешочных штанах, обутый в липовые калоши, поданные за упокой души умершего лапотника Михалева, сгорбившись, стоит на крылечке, по-мужицки сосет самосадку, обжигая усы, по-мужицки сплевывает под ноги и еще дальше, — на переднее колесо у бочки возле ворот. На своем крылечке стоит дьячок Панафеев в распоясанной рубахе, громко спрашивает попа Алексея:

— Батюшка, у вас теленок дома?

— Дома.

— А новость вы слышали?

— Нет.

— Интересную штуку пишут о капитализме!.. В Москве уже торгуют во-всю...

— Да не может быть?

— Честное слово! Коммунист один рассказывал в исполкоме...

А тощая, захудалая дьячиха, беременная восьмой месяц, выносит из сеней маленького котенка, кидает его на дорогу далеко от крыльца.

— Сволочь!

— За что? — спрашивает дьячок Панафеев.

— Молоко слакал из горшочка.

— Ах, сукин сын! Пошли иди Шурку, пускай отнесет на огород подальше, а то опять притащится назад...

Осень.

Не летают журавли над полями, не висит тонкая паутина. Низко упало почерневшее небо над головтеевскими крышами, перекидывается с гумна на гумно мокрая, приблудная ворона с разинутым ртом. Каркает в самое ухо, в самую душу и медленно, большими кусками вытаскивает оттуда недавнюю радость. Скрипят ворота под горой, грызутся собаки, ругаются мужики. Раскорякой идут они, вымазанные грязью, тяжело хлопают широкими мордовскими лаптями. (Мордовские лапти лучше русских: лыка меньше берут и ногам вольготнее). Каждый день проходят мимо школы головтеевские мужики, едут на лошадях: с гумна, на гумно, в поле, из поля, в жиденький лесок на горе. Утром и вечером привозят солому, хворост, выбранную картошку, посеянную на новине в вырубленном лесочке, тащат зеленые арбузы — последыши. Не попа Алексея жалко — душу свою. Кто картошек подол высыпет на поповское крылечко, кто арбузов зеленых бросит у ворот — годятся теленку.

И каждое утро поп Алексей кричит с своего крылечка дьячку Панафееву:

— Вам не давали?

— Мало! — откликается дьячок.

— А вы намекните!..

Осенью, в осеннюю грязь, когда сильно дует в окошки, иначе и нельзя, как только сесть рядом, прижаться друг к другу и поддерживать друг друга хорошими разговорами.

— Тебе, Катюша, не холодно? — спрашивает Сергей Иваныч Катерину Васильевну.

— Мне? Нет. А что?

— Может быть, холодно?

— Ну, я привыкла к этому!..

— Ты скажи, когда будет холодно.

— А ты не озяб?

Сидят они, будто два зайца на маленьком островке, в маленькой комнатке с двумя окнами на дорогу, смотрят в черное, осеннее небо над селом и думают о том, что необходимо выучить кое-что из Карла Маркса, познакомиться с „материализмом" и работать вместе с коммунистами на общую пользу. Катерина Васильевна запрокидывает голову, экзаменует:

— Слушай, Сережа, ты помнишь, чем отличается республика Советов от буржуазной республики?

— Помню.

— Чем?

— Потому что буржуи там во главе с министрами, разные соглашатели, а у нас рабочая диктатура.

— А что такое РСФСР?

— Это я знаю. Ты потруднее спроси.

— Ну, подожди! Кто был Плеханов?

— Плеханов-то?

— Да!

Оба смеются.

Трудно все-таки удержать на память без привычки разные слова политические. Хорошо бы словарик такой приобрести или книжек больше накупить. Дорого очень.

Когда выдается сухой осенний денек и выше поднимаются облака над Головтеевым, молодые шкрабы с двумя веревочками идут в нагорный лесок, будто прогуливаются. Дружно идут плечом к плечу.

— Наплевать! — говорит Сергей Иваныч. — Натаскаем сами воза два.

— Конечно, натаскаем, — успокаивает Катерина Васильевна.

— Тебе не тяжело?

— Ну, вот еще! Я же привыкла к этому, до шестнадцати лет работала в поле. Посмотри, какие у меня мускулы!

Сергей Иваныч щупает на руке Катенькины мускулы, дает ей пощупать свои, и — вот так — с шутками, обоюдно-согласные, решившие протерпеть до конца, нагружаются они вязанками хворосту, по-стариковски выгибают спины, но идут дружным, веселым шагом. Правда, немножечко неудобно таскать дрова на себе, но, ведь, это временно. Уберутся мужики с полей и огородов, покончат с делами, выйдут на собранье. Выйдет к ним и Сергей Иваныч, скажет о том, как необходимо ученье каждому человеку, и тогда председатель совета поставит на голосованье:

— Товарищи, согласны, чтобы дров на школу?

— Согласны!

— А окошки с печкой?

— Согласны!

Катерина Васильевна тоже подтверждает:

— Потерпим, Сережа! От этого не надо расстраиваться...

Поповская служба дороже.

Сегодня поп Алексей сразу попал на крестины, на похороны, и прямо из-под горы, с двух „праздников“ заходит к Сергею Иванычу. Пьяненький от пирогов, от жирной самогонной икоты, выхаживает он по маленькой комнатке бойкими солдатскими шагами, громко уверяет, что никак нельзя народу без религии жить, и, если по совести признаться, народ этот немножко дурачок, которого надо полтораста лет учить. Да, да! Именно полтораста, потому что в крови у народа тяготение к церкви от дедов перешло, от крепостного права. И будь тут двадцать восемь революций, этого не уничтожить никакому Карлу Марксу. Ясно! Пусть кто-нибудь докажет, что поп Алексей — контр-революционер. Ничего подобного! Он тоже социалист, только особого склада, на манер католика с протестантом, которые не признают православной церкви, а душа человеческая всегда стремится к слиянию с богом, хотя бы путем недоказанным. Если хочет Сергей Иваныч не быть дураком, пускай переходит в духовные. Факт! Были у дьячка худые окна — вставили. Дымила печка в трех местах—

починили. Это к псаломщику такое отношение. А если священника взять? Ни один человек не устоит, кроме заведомых коммунистов, не верующих в бога, и те придут перед смертью к нему, потому что капитализм возрождается, мелкая собственность...

Рассказывает поп Алексей уверенно, весело, на прощанье говорит:

— А вы напрасно не венчаны живете. Старики недовольны вашим поступком, и самим вам неудобно покажется после. Давайте обвенчаю! С вас подешевле возьму. Если денег нет, в рассрочку сделаю.

Он ловко подмигивает, нащупывая круглым глазом молодых невенчанных шкрабов, смеется:

— Чубуки! Вздумали в бога не верить... Коммунистическая партия... Советская платформа. Эх, вы, чалобоны, милые люди!..

4

Не все умирает осенью в полях под тяжелым дождем, не все холодеет в глухую осеннюю ночь. Пусть худые окна в головтеевской школе, пусть дымит развалившаяся печь. Сергей Иваныч не коммунист, но желает работать с коммунистами на общую пользу вместе с Катенькой, Катериной Васильевной. Хоть немного, совсем немного, но, любя друг друга, ценя и уважая, будут они с ней устраивать степную, далеко от города заброшенную жизнь, опустошенную голодом, войной и невежеством, станут класть по маленькому-маленькому камешку. Каждый человек бывает поэтом, вот и он, Сергей Иваныч, поэт. Не все только деньги, не все только брюхо. Есть вещи, за которые совсем не платят деньгами, и никто никогда заплатить не сумеет...

Падает первый снежок двадцать восьмого октября, ударяет предзимний морозец, вяжет, кует жидкую грязь, сковывает головтеевскую речку в отлогих берегах. По первому снегу, легким укрепленным шагом идет Сергей Иваныч в головтеевский союз молодежи. Но союза нет. Был и — нет. Только плакат в исполкоме висит, а на плакате молодой паренек

лицом к восходящему солнцу, на котором исполкомские мухи насажали темных пятнышек, будто черного пшена насеяли по желтому загоревшемуся полю. И надпись внизу, вырванная посредине на курево:

Товари   диняйтесь
Долой капи   да здра

Пусть в Москве торгуют во-всю. Пусть дьячок с попом Алексеем уверяют, что возрождается капитализм наподобие иностранных держав, но зачем так мрачно в головтеевском исполкоме? Неужели только деньги? Неужели везде? Вон секретарская лысинка, утыканная редкими волосочками. Вероятно, он, секретарь, разорвал плакатную надпись, свертывая кривую, увесистую ножку согнутыми чернильными пальцами. А вон член исполкома — головтеевский мужик с потными, упаренными волосами. Это он с трудом выводит восемь букв своей фамилии и, поднимая от стола отяжелевшую голову, густо дышит через обе ноздри, будто на гору поднялся. Но где же союз молодежи?

— Был! Спросить надо у Мишки.

— А Мишка где?

— Дома, наверное.

В комнатке у себя Сергей Иваныч говорит Катерине Васильевне:

— Надо работать, Катюша! Ты понимаешь, какое положение? В нашем селе сто сорок восемь дворов и одна единственная газета, которая пришивается к исполкомским делам. Видал сейчас ребятишек пьяных — чуть-чуть постарше школьного возраста. Тоска у всех, и глядеть некуда, кроме как в пустое, холодное поле за гумнами. Надо придумывать чего-нибудь, так нельзя...

И Катенька, чудная, никогда не перечащая, Катерина Васильевна:

— Обязательно надо работать, Сережа.

Вечером Сергей Иваныч вымеривает классную комнату прищуренным глазом — маловата немного, придется перегородку одну разобрать, а тут, в этом углу, сцену приспособить. Сойдет на первый раз. Катерина Васильевна делает кудельные

бороды с кудельными усами: тоже сойдет на первый раз. Сам Сергей Иваныч будет разыгрывать тяжелые роли — драматические, а Катерина Васильевна больше всего способна на комические. Может она старушку представить и даже старика, если приклеит себе бороду из кудели...

Думает Катерина Васильевна, кого помощником взять, а Егорка, хромой красноармеец, тут как тут. Услыхал, что учитель союз молодежи отыскивал, даже ужинать не остался—прямо в школу поскакал на хромой ноге. И хотя Егорка постарше годами молодого союза, ну, да ничего — сойдет на первый раз — очень любитель он до разного представления. Попробовал голос Егоркин Сергей Иваныч, говорит:

— Голос у тебя залетный, ты мне пригодишься.

— По какому случаю, товарищ учитель?

— Спектакль будем устраивать... Станешь помогать?

Рад Егорка, наперед вылезает. Я, говорит, такую спектаклю устрою, товарищ учитель, всем праздникам будет праздник.

— Ну, ну!—улыбается Сергей Иваныч.—Ты человек сознательный.

— Я вот какой сознательный! — хвалится Егорка. — Вопьюсь в это дело, меня насильно не оторвешь... Мы и шествие устроим по улице, как в городе, пускай глядят на нас, кому хочется.

Увидал он утром Дуняшку Маерову, первую запевалу во всех хороводах, и ласково так подсыпается к ней с левого уха:

— Дунь, желаешь послужить рабоче-крестьянскому народу?

— Когда?

— Приходи в училищу завтра вечером!

Пришла Дуняшка, а народу в училище — будто свадьбу справляют. Илька с Захаркой басами ревут, Тяпа с Култыногим тенорами подхватывают, потолок готовы вышибить от большого удовольствия. Тут еще Аринка Сапронова дискантом кроет, соловьем разливается:

Смело, товарищи, в ногу!

Сам Сергей Иваныч за регента управляет. Махнет железной палочкой-рогулечкой — все утихнут. Еще махнет — все начинают:

Духом окрепнув в борьбе!

Долго не могла приладиться Дуняшка, а как залезла голосом в самую гущу, да поплыла по высоким нотам с одной на другую, даже Егорка-красноармеец подпрыгнул на одной ноге:

— Мертвых поднимем, истинный господь!

Слушают мужики под окошками, переглядываются.

— Чего они задумали?

— В бога не веруют...

А Егорка выдумщик здоровый. Вернулся домой со спевки, дудку налаживать начал, чтобы громче кричала. Сделал одну в четыре дырочки — не берет. Сделал другую на восемь дырочек, прижал три дырочки тремя пальцами — в самый раз. Надул щеки и начал выводить тому подобные мотивы. Услыхал ребенок в зыбке тятяшкину игру, сначала заплакал с перепугу, потом смеяться стал, готовый из зыбки выскочить. Услыхали девки — готовы всю ночь простоять перед Егоркиным окошком: очень уж музыка завлекательная.

Разошелся Егорка, даже учителя отсовывает в сторону, чтобы на первом месте стоять. Прошел он с вечера накануне по двум головтеевским улицам, и кого увидит из молодых парней с молодыми девчонками, скажет:

— Как услышите, дудка моя заиграет завтра, собирайтесь в училище!

— Зачем?

— Праздник устроим... Пролетарии всех стран...

5

Утро.

Седьмое ноября.

Падает пушистый снежок, постукивает мороз на головтеевской речке в отлогих берегах. Ревет Егоркина дудка, будто труба архангельская на страшном суде: поднимаются живые и мертвые, больные и здоровые. Кто в окошко глядит, кто

в калиточку из ворот. Только ребята молодые с девками молодыми валом валят на Егоркину дудку. А Егорка уже флаг кумачевый выкинул около школьного крылечка и надпись на флаге том кривыми, неровными буквами:

Ученье — свет, неученье — тьма.
Долой капитализм!

Сергей Иваныч докуривает папироску из зеленой, душистой махорки, волнуется: не выйдет, как в городе—музыкантов настоящих нет, и флаг без золотых кистей. Катерина Васильевна разрумянилась, разгорелась, стоит вместе с певчими, по-девичьи улыбается Сергею Иванычу, смотрит на хромого товарища Егорку. Покрыл Егорка флагом красным молодых парней с девчонками, командует без возраженья:

— Со знаменью вперед! Неси его, Ванек! Певчие, слушайте тон, шагайте в ногу, пойте дружнее. Басам подхватывать, тенорам выносить.

Дернул в дудку сам Егорка, подхватили баса, вынесли тенора и пошли нарядной стеной по головтеевской улице, прямо с горки, налево от церкви. Торчат из окошек бороды мужиков — лопатами, лопухами огородными, узенькими мочалками.

— Господь судом идет!

Плещется красный флаг под ноябрьским ветерком, вспотел знаменосец Ванек, напирая грудью вперед. Поддают баса, кроют тенора, серебром рассыпается Дуняшкин тонкий голос:

Смело, товарищи, в ногу!

Оборвала узду Леонова кобыленка у ворот, махнула по улице вместе с санишками, ударилась в околицу, в степь, задирая перепуганную голову.

— Пресвятая богородица, спаси нас!

Выскочила Лизарова собачонка на дорогу, тявкнула и—подавилась.

— Что такое на улице делается?

Масленица не масленица, и на пасху не похоже. Девки в полушалках новых, парни — в пиджаках. Ребятишки прыгают, мужики шагают сторонкой, бабы.

Проснулся Матвей Дудаков — голова болела с похмелья — крикнул:

— Марья!

Улетела, скрылась Марья.

— Там!

Приехал Захар Веретенников из другого села, кричит у ворот:

— Авдотья!

Улетела, скрылась Авдотья.

— Там!

Зашел Иван Кузьмичев в избу, чтобы позавтракать, а в печи на горячих угольях похлебка из чугуна плещется:

— Дарья!

Улетела, скрылась Дарья.

— Там!

Гудит Головтеево от Егоркиной дудки, растет „эманстрация" — будто снежный ком. Лежал старик Крутоберов на печке — слез. Лежала старуха Сихаева на полатях — слезла. Старик — на улицу, старуха — на улицу. Думали, попы с молебном идут, а как глянули попристальнее, увидали в губах у Егорки длинную дудку, оба сказали:

— Ай,-яй-яй!

Когда остановились около школы, Егорка речь произнес:

— Вот, товарищи, сейчас мы по улице ходили со знаменью рабоче-крестьянского пролетариата, а вечером покажем спектаклю. Все приходите смотреть, как будем разыгрывать, а пока, в виду организации сознательных, крикнем „ура" за всемирную революцию.

Крикнули.

Тряхнули знаменью, еще раз крикнули.

Вечером, разглядывая кудельные бороды с кудельными усами, Сергей Иваныч тревожно спросил Катерину Васильевну:

— Что ты, Катюша, смотришь так?

— Ничего, Сережа, не беспокойся за меня...

— Хворать хочешь?

— Нет!

Сергей Иваныч пощупал ей лоб, мрачно нахмурился.

— Голова очень горячая у тебя...

Катерина Васильевна неестественно улыбнулась:

— Нет, Сережа, не бойся! Полежу до спектакля, она и пройдет. В уши надуло...

Играли долго, было весело, много смеялись над Егоркой в кудельных усах, над Катериной Васильевной, которая выходила мужиком в шароварах. Потом Сергей Иваныч говорил речь о том, как необходимо учиться каждому человеку, а ночью Катерину Васильевну бросило в жар. Сергей Иваныч укрывал ее тоненьким проношенным одеялом, сверху накладывал серенький учительский пиджачок с заплатанными рукавами, сам вытапливал починенную Катенькой печку, но Катенька дрожала мелкой дрожью, сжималась в комочек, силилась улыбнуться.

— Холодно, Катюша?

— Нет, нет, Сережа, пройдет! Лихорадка ко мне привязалась.

— Может быть, чайку согреть?

— Да!

Поил Сергей Иваныч Катеньку чаем, гладил по волосам, а она, стискивая ему руку горячей ладонью, успокаивала:

— Нет, нет, Сережа, пройдет!

6

Дождь и снег.

Воют собаки под горой, ругаются мужики. Низко плывут облака над Головтеевым — белые, черные, рогатые, взъерошенные — целые горы, наметанные огромной рукой. И кажется под ними маленьким раздавленным пятнышком степное село в сто сорок восемь дворов. Уныло дребезжит колокол на низенькой колокольне. Мрут православные души, много еще православных душ в степном селе Головтееве, и каждая из них торопится в низенькую церковь побывать последний раз под темными сводами. Поп Алексей в мешочных штанах, дьячок Панафеев в кожаном большевистском пиджаке отпевают в два голоса, торопливо постукивают мокрым кадилом. Домой возвращаются веселые, с отяжелевшими карманами, мирно говорят о капитализме наподобие иностранных держав...

Ах, эта осень! Длинная головтеевская осень с черными вечерами.

Катеньке хуже.

Гладит она руку Сергею Иванычу горячей ладонью, просит успокоиться, уговаривает, что все пустяки, завтра она обязательно встанет, надо только достать где-нибудь подсолнечного цвету, который от лихорадки хорошо помогает. Молчит Сергей Иваныч, молча ходит по комнате из угла в угол. Волосы у него торчат щетиной, кулаки сердито сжимаются. Молчат рваные учебники на столе. Молчит серый кот, спрятав голову в пушистую шерсть на спине. Горит и будто совсем не горит привернутая лампа. Только ветер попискивает в незамазанные щели, да жалобно так потрескивает фитиль.

Дождь и снег.

Эх, если бы лошадь была у Егорки! Сейчас бы вот, сию минуту, запряг он ее в тарантас Тимофея Гаврилыча, сам бы сел на козлы и немедленно отвез Катерину Васильевну в Кандалинскую больницу. А если в Кандалинской больнице не помогут, может он и дальше отвезти, так, без копеечки отвезти за семьдесят верст, из уваженья к товарищу учителю, и потому, что он, Егорка, сознательный, смотрит по самому существу, а другие которые — несознательные.

Сидит Егорка на полу около кровати, рассказывает сказки. Хорошо слушать живой человеческий голос, и Катеньке легче. А когда уходит он, она говорит обиженным голосом:

— Сережа, милый, что же ты расстраиваешься? Завтра я обязательно встану и обещаюсь тебе никогда не студиться. Ты уходишь?

— Да!

— За подсолнечным цветом?

— Да!

— Оденься хорошенько, Сережа, шею повяжи моим платком. Слышишь, Сережа, пожалуйста, не простудись...

Стоит Сергей Иваныч на школьном крылечке, стискивая зубы, и быстро-быстро бросается в ветер, в дождь, в мокрый, густо падающий снег — искать по селу подсолнечного цвету...

У Климовых — нет.

У Прокофьевых — нет.

У Вавиловых — нет.

У Гришиных есть, но немножко, только для себя...

Будто горит и будто совсем не горит керосиновая лампа в избе Тимофея Гаврилыча. Будто знакомый кто и будто совсем незнакомый сажает Сергея Иваныча за стол и голосом ласковым говорит:

— Выпей!

И еще кто-то говорит:

— Выпей!

Кто-то подает огурец:

— Закуси!

Сергей Иваныч мотает головой, отталкивает угощающего, нет, нет, пить ему совершенно не хочется, у него больная жена, ищет он подсолнечного цвету, который хорошо от лихорадки помогает, а крестьянам села Головтеева необходимо ремонтировать школу. Пусть товарищи-крестьяне примут некоторые меры, чтобы дети их не остались без всякого образования...

Опять кто-то кричит в самое ухо:

— Правильно!

А потом подходит председатель совета в большой окладистой бороде, крепко трясет за плечо.

— Пей и держись за меня! Митрий, отвези его бабенку завтра в больницу, пускай ее хины напьется там...

Сергей Иваныч хочет обидеться, рассердиться, но председатель совета стучит кулаком по столу.

— Не хочешь с нами пить? Митрий, выпрягай лошадь назад!..

Сергей Иваныч выпивает только одну — не ради себя, ради Катеньки, Катерины Васильевны, и — еще одну.

Мчатся тучи,
Вьются тучи!
Сколько их,
Куда их гонят?

Это из стихотворения Пушкина. Это сам Пушкин говорит, обнимая учителя Пирожкова.

Не зарастет народная тропа!

— Да! — отвечает Сергей Иваныч. — Совершенно верно.

— Вы партийный?

— Нет, пока беспартийный, но желаю работать с коммунистами.

— Дайте вашу руку, товарищ! Иван Семеныч Портнов, продовольственный работник, всегда к вашим услугам. Выпьем за будущее раскрепощенной России! Я, объективно выражаясь, тоже в некотором смысле беспартийный, но товарищи-коммунисты открыто говорят: „Портнов, ты нам лучше партийного! Хочешь в кандидаты перейти?“ Вы знаете, товарищ... Сергей Иваныч... Продовольственное дело, образовательное дело — ого! Помните, как в центре говорят: фронт!

Теперь Сергею Иванычу не страшно, а болезнь Катенькина — пустяки. Добьется он подсолнечного цвету, она моментально поправится, и будут они опять устраивать спектакли по праздникам. Сам он будет разыгрывать тяжелые роли — драматические, а Катенька — комические.

Нет Пушкина.

Нет и Некрасова.

Только туман зеленый качается перед глазами, а в этом тумане прыгает лохматое, страшное, с двенадцатью головами, и Сергей Иваныч ясно видит каждую голову, похожую на подсолнечную шляпку. Стоит перед ним головтеевский милиционер, товарищ Никифор, сильно кулаком стучит в грудь:

— Где ж бог у нас? Неужто совсем нет?

— Есть! — кричит кто-то в самое ухо Сергею Иванычу.

— Есть, только не видно!

И опять перед глазами лохматое, страшное, с двенадцатью головами, похожими на подсолнечные шляпки. А товарищ Никифор, головтеевский милиционер, обнимая товарища Пирожкова, настойчиво говорит:

— Есть или нет?

И еще кто-то обнимает с другой стороны:

— Почему ты невенчанный?

— Почему у тебя иконы нет?

И когда Сергей Иваныч отвечает товарищу Никифору: — Нет! — товарищ Никифор кричит:

— Арестован! И все остальные арестованы за самовольное происхождение пьянства...

Кто-то падает на пол, кто-то кричит на полу:

— Бей кирпичом!

Падает и Сергей Иваныч, опять поднимается, вылезает в сени, из сеней на улицу, и в ветер, в дождь, в мокрый, густо падающий снег возвращается в комнату, где Катенька дожидается. Кажется ему, что идет он по широкому полю, засеянному подсолнышками, и сколько кругом подсолнечного цвету, сколько дешевого лекарства, хорошо помогающего от лихорадки! Вверху играют жаворонки, кружит блуждающий коршун, а Сергей Пирожков, семнадцатилетний парнишка, едет в учительскую семинарию.

Сейте разумное, вечное!

Вот и семенария кончена.

Вот и диплом с круглой печатью.

Директорский росчерк.

Это Катенька смотрит удивленными глазами, это она испуганно прижимается.

— Сережа, милый, что же такое?

Сергей Иваныч становится на колени около кровати и стоит на коленях до тех пор, пока не выплаканы Катенькой последние слезы.

Дальше сон...

Дальше бред...

Черный мешок, в котором легко задохнуться, смертная тоска, разрывающая сердце, пересохшие губы и огромный, блуждающий коршун под самым потолком. Спускается он будто бы на ниточке, клюет острым носом в горячечную голову, спрашивает голосом человеческим:

— Почему ты невенчанный?

Потому Сергей Иваныч — артист, а Катенька — артистка. Он играет тяжелую роль — драматическую, она — комическую. У него кудельная борода с кудельными усами, на ней холщевая юбка деревенской нищенки.

А вот и Егорка, хромой красноармеец. Вот и дудка Егоркина на восемь ладов, Тяпа с Култыногим, Илька с Захаркой, Аринка Сапронова, Дуняшка Маерова — целый союз.

— Как же это так?

— Неужто только деньги?

— Есть вещи, за которые совсем не платят деньгами, и никто никогда заплатить не сумеет...

7

Белый снег. Белая дорога. Стрекочет сорока на церковных березах, серыми кольцами плывет и расходится мягкий дымок над селом Головтеевым. Сухой, морозный, широкий горизонт, светлая радость. А Сережа попрежнему милый, хороший и славный. Никогда он не пил, никогда не напивался пьяным, и, вообще, ничего такого не было с ним. Хворает же он оттого, что простудился в ноябре месяце, когда искал по селу подсолнечного цвету. И Катенька опять совершенно здоровая. Она теперь вот какая: одной ногой — в школе, другой—в маленькой кухне за тоненькой перегородкой. Рассказывает ребятишкам про Ленина, про Советскую республику, чем она отличается от буржуазной, разучивает Интернационал, сама готовит лекарства для Сергея Иваныча. И нет таких лекарств ни в одной аптеке. Выпьет он настойки травяной, посмотрит в лицо, послушает — будто совсем не хворал. Хочется ему выйти скорее на улицу, пройти по хрусткому снегу, подышать морозным воздухом, увидаться с Егоркой, поговорить о Егоркиной дудке.

А когда поправляется он, ведет его Катенька за село по белой непомаранной дороге. Он — в больших, разношенных валенках, оставляющих широкий след, она — в теплом платке, с обмотанными на шее концами. По бокам, возле дороги, стоят высокие кусты полынника, увешанные белыми сережками, зажженными солнцем. Все невиданно и ново в тихом безлюдьи полей: безгранные дали, увлекающие вперед, и зачарованная тишина с легким похрустыванием под ногами, и воткнутая на бугорке деревянная часовня, надевшая белую, пушистую шапку.

Сергей Иваныч стискивает Катенькину руку, радостно говорит:

— Какая ты хорошая, Катька!

ПОВЕСТЬ О БАБАХ

1

Воет собака на дворе. Подволокой гоняются кошки, визжат, как девки, тонкими голосами. Дунай лежит на кровати под мятым цветным одеялом. Глаза у него завалились, борода метелкой редкой вздернута кверху. Губы обметаны синим: третий месяц мучится Дунай в одиночку. Охватит колени острые тощими руками, посидит в тяжелом раздумьи с разинутым ртом и опять упадет бородой на потную, горячую подушку.

В полдень приходит старик Огурцов, Терентий Моисеич. Садится он на скамейку около кровати, ласково сосет болящего злыми прищуренными глазами.

— Орла хотели замазать, а он не замазывается...

— Ты про кого?

— Орлов на вагонах краской покрыли, а их все равно видать.

— Видать?

— Как есть видать...

Вздыхает Дунай скорбью застаревшей, смотрит в потолок, засиженный мухами.

— Орлы им воняют!

— Шибко воняют! — шепчет Огурцов. — Раньше были специальные люди, нынче ширь-пырь появилась... От пищи я отстал...

— Отстал?

— В рот не лезет!..

Говорит Огурцов намеками, зайцем на снегу путает петли. Вид у него суровый, нахмуренный, голос твердый, негнущийся. Слова поленницей складывает: грохнет и опять тихонько спускается до жесткого шопота.

— На сто сажен иголка пуд потянет.

— Ты к чему? — спрашивает Дунай.

— Поговорка такая. Облаю кого — на душе становится легче. Сердце у меня не укладывается на прежнее место, клубком катается и в горло лезет матерным словом. Дай мне волю — сейчас двоих заколю и каяться не буду. Знаешь мой характер?

Вяжет петли Терентий Моисеич из хитрых половинчатых слов, греет сердце злобой запрятанной.

— Деньги больно дурацкие пошли: одна палочка, шесть кружков, и считать на них — пальцев не хватит.

— Неужто не пройдет? — вздыхает Дунай.

— Пойдет! О смерти пока не загадывай.

— Третий месяц лежу.

— Это приходится. Скости мне годков на пятнадцать, я бы попробовал развернуться с нынешними порядками... Я бы вот что сделал сукиным сынам...

Огурцов поднимается. Осторожно чертит бородой, словно циркулем, над цветным одеялом, заглядывает под кровать.

— Никого нет?

— Один лежу.

— Изба у тебя больно нехорошая, Иван Семеныч: в каждой трещине черти сидят с длинными ушами, слушают, чего говорим мы с тобой.

Глаза у Терентия Моисеича зеленые, маленькие, и лезет из них острый зеленый огонек тонкими иголками.

Подволокой гоняются кошки.

Огурцов тревожно прислушивается.

— Кто это бегает там?

— Кошки доняли целый день.

— Нынче и кошки непохожи на кошек: с хитростью пошли. От людей на тварь перекинулось.

— Говори, чего хотел!

— Чего мне хотеть? Башки свернуть которому народу, а первой—жене твоей, чтобы голяшками не сучила. Знаешь, с кем ночует?

— Знаю.

— Значит, бросила тебя? На глазах подол поднимает?

Лежит Дунай безвредный, тихий, с желтыми восковыми щеками. Чуть-чуть борода шевелится, роняя короткую тень на выбеленную стену. Дрожит пыльца воздушная голубым кольцом. Мрачно смотрит божница темным ликом почерневших угодников, головой отрезанной качается лампадка стеклянная на грязных шнурках. За шнурки уцепились мухи мертвыми ногами, кажутся издали бахромой пушистой.

Огурцов плюет на пол злыми трясущимися губами, растирает плевок сапогом.

— Тошно мне глядеть на все! Змею раздавить — силы нет. Понимаешь меня?

— Понимаю.

— Ты счастливый, Иван Семеныч: лежишь в избе, никуда не выходишь, и глаза твои не расстраиваются. А я сидеть не могу на одном месте, толкает меня из стороны в сторону, разные слова слушаю против себя...

— Дочь твоя приходит сюда? — шепчет Дунай.

— Ты не говори про это, Иван Семеныч!

— Трудно?

— Тяжело, милый, весь характер изломали у меня...

Уходит Огурцов — сутулый, сгорбленный, с трудом передвигая ноги. Низко висит борода побелевшая. Если всунуть палку в холодные отмирающие руки ему, сбоку повесить холщевый мешок — будет тогда похож на нищего Терентий Моисеич. Все ненавистники, и сам он ненавидит всех. В дому его, с пятью окнами, собираются девки с парнями, „чортов" союз устраивают, разные представленья... На рессорном тарантасе с казанской плетушкой ездит комиссар исполкомский Гаврюшка Кочин, а сам Терентий Огурцов... Да! Сам Терентий Моисеич не имеет права голоса и на свой тарантас, на свой дом с пятью окнами в улицу должен смотреть чужими, беззлобными глазами: будто самого Терентия нет, будто и не было у него ничего.

Времечко!

Не тряслись руки с ногами — теперь трясутся.

Не гнулась спина непокорная—теперь распрямиться силы нет.

Раньше были специальные люди, нынче ширь-пырь появилась. Только язык высовывать нельзя...

— Господи!

Перекрестился Терентий Моисеич на белую колокольню покрова богородицы, злобно подумал:

— Когда убьешь окаянных?

2

Похожа Анна Поликарповна на черничку с кротко опущенными глазами. На мягких припухших губах — лукавая, несытая улыбка. Никогда не сходит она с мягких припухших губ. Падает хитрый смешок из опущенных глаз. Молодость только раз. А в гостях сегодня будет Гаврила Петрович, комиссар исполкомский. Для него и смешинки падают из-под длинных не бабьих ресниц, и улыбка на мягких припухших губах. Зацелует губами голодными Анна Поликарповна Гаврилу Петровича, скажет:

— Милый! Десять раз милый!

Шумит самовар, песком начищенный, блестят вымытые чашки. Сахар кусочками мелкими лежит снеговыми камешками в сахарнице стеклянной. На столе скатерть раскидала кружевные узоры по-праздничному.

Молодость только раз.

Лежит Дунай под цветным одеялом, морщинами желтыми стягивает кожу на лбу. Не на радость шумит самовар. Не на радость блеском солнечным играют вымытые чашки. Из одной будет пить Гаврюшка Кочин, из другой — Анна Поликарповна, похожая на черничку. Соберутся бесы разные за праздничный стол, и потонет в смехе их старая, невытравленная скорбь, провожающая Дуная в последний путь.

Входит Марьяна, Терентия Огурцова дочь, молодая краснощекая баба, глазами смелыми насквозь вертит. Проворно расстегивает жакетку черную, бросает на кровать в Дунаевы ноги. Тошно глядеть хворому Дунаю на румяную, здоровую бабу, шевелит он ногами слабыми, чтобы сбросить жакетку на пол. Марьяна говорит Анне Поликарповне:

— Давай его в заднюю избу перенесем!

Привык Дунай и к этому.

Когда Марьяна стаскивает с него цветное одеяло — несколько секунд он лежит неподвижно в розовых подштанниках,

подпоясанный узеньким пояском. Анна Поликарповна берет Дуная за плечо чужими, негреющими руками, ласково говорит чужим, негреющим голосом:

— Перейди, Иван Семеныч, на нынешний день!

Дунай открывает глаза, шарит крестик на груди задрожавшей рукой, тяжело спускает ноги в шерстяных чулках. Ведут Дуная под руки молодые, здоровые бабы, и каждой из них хочется ткнуть его бородой в половицы, покрепче надавить тощее гусиное горло играющими руками, выкинуть со двора ненужное тело...

Марьяна смеется:

— Легкий ты стал, Иван Семеныч, как куриный хвост!..

В голову Дуная ударяет разгневанная кровь. Долго сидит он на сундуке в задней избе, с трудом лезет на старую деревянную кровать. Анна Поликарповна приносит цветное одеяло из передней избы, завертывает им Дунаевы ноги.

— Не холодно тебе, Иван Семеныч?

— Уйди! — ненавистно шевелит губами Дунай.

— Сердишься?

— Тьфу!

— Умирать надо, Иван Семеныч, себя только мучаешь...

Молчит Дунай.

Пухнет голова от бессильной злобы, гложет тоска измученное сердце. Никуда не уйдешь от тоски. Дни и ночи сидит она около Дунаева изголовья, вяжет морщины на лбу, путает бороду, красит губы похолодевшие в могильный цвет. Кислотой застаревшей пахнет от розовых подштанников, и ползают по дряблому телу белые прозрачные вши, вылезая на цветное одеяло. Давит их Дунай белыми бескровными ногтями, моет ногти клейкой ползучей слюной.

Были крылья, теперь подрезали — для насмешки живет Дунай. Отняли и силу прежнюю, отняли и жену, похожую на черничку. Ах, ты, господи, боже мой! Разве не она расчесывала бороду Дунаю тонкими змеиными пальцами? Разве не она снимала сапоги с толстых Дунаевых ног, когда он кричал во хмелю:

— Анка!

Падает таракан с черного потолка на цветное одеяло, камнем бьет Дуная в грудь. Хватается он дрожащими руками

за нее, тяжело дышит разинутым ртом. Не таракан ударяет в грудь — злоба, ревность кривит посиневшие губы. Голос Гаврюшки слышится из передней избы, и еще два голоса тонких, подвизгивающих режут сердце острыми ножами...

Тихо в задней избе. В два окна со двора лезет черный вечер и черным столбом становится перед кроватью, вешает на стену черный лохматый хвост, как у старого кобеля, убитого красноармейцами...

3

Дарья Кочина, беременная пятый раз, ненавистно смотрит на большой раздутый живот, от которого бегает Гаврила Петрович по чужим тонкобрюхим бабам, ненавистно стучит кулаком по животу:

— Натолкал, подлец, больше не хочешь?

Добрые овечьи глаза у Дарьи наливаются слезами, губы дрожат.

В нищей избенке темно, пахнет лоханью. В два окна косыми рогами смотрит шалый месяц через Ипатову крышу, прядет на полу тонкую золотую пряжу. Густой навозный воздух со двора крепкой волной лезет в избенку, мешается с запахом пеленок, с кислым настоем лохани.

Бондина, солдатка, щупая Дарьин живот сухими проворными пальцами, торопливо говорит:

— Ляг на кровать, я лежачую пощупаю!..

На кровати сидит Архипка, четырехлетний сын с рыжими телячьими волосами. Смотрит он из темноты разинутым ртом, громко шмыгает носом. Дарья стаскивает его на пол. Архипка начинает реветь. Дарья бьет Архипку по голове, сажает на лавку в передний угол. С лавки Архипка влезает на стол и сидит на столе, как большой пузатый горшок.

Бондина шепчет, поправляя платок:

— Подними юбки повыше! Ноги вот так.

Архипка кричит со стола:

— Мама, кусочек дай!

Лежит на кровати Дарья с голыми раздвинутыми ногами, смотрит через нос себе на большой вздутый живот. В темноте

он белеет огромной уродливой кучей, кажется ненужным мешком, привязанным выше ног, путает мысли, выжимает из глаз отвратительные слезы. И вся жизнь от большого раздутого живота кажется отравленной, вывернутой наизнанку, и крошечная избенка, утонувшая в густом навозном мраке, наливается острой тоской, бабьей невыносимой печалью.

— Когда понесла? — спрашивает Бондина.

— Разве я помню! — тихо отвечает Дарья.

— Трудно будет, гляди...

— Сделай, христа-ради, я тебя вот как прошу...

— А если случится чего?

— Все равно, не бойся, одна буду отвечать. Сделай, чтобы выкинуть мне, и чтобы никогда не родила я больше. Не хочу я этого терпеть, если он глаза от меня отворачивает. Семи годов не исполнилось, как замуж вышла, пятым брюхом страдаю. Ну, какая тут красота? А ему красивую надо, безбрюхую... Сделай, христа-ради, Наталья, пожалей мою долю!..

— Ну, вставай! — говорит Бондина. — Придешь ко мне завтра, только с уговором: сама не люблю болтать, и ты никому не рассказывай. Согласна?

Дарья крестится на икону в темном углу.

— Вот на месте провалиться! Только помоги, христа-ради...

Когда уходит Бондина, Дарья целует Архипку в рыжие телячьи волосы, ласково шепчет:

— А ты, сынок, не плачь, слушай, чего я тебе говорю. Ложись иди на кроватку и спи. Завтра я кашки с молочком тебе за это дам.

— А еще чего? — спрашивает Архипка.

— Спи! Картошки испеку.

— Я не хочу картошки.

Дарья хлопает Архипку по спине, дерюгой закрывает ему голову, торопливо поет:

А мой сынок
Уснет, уснет.
К нему волчек
Придет, придет.

Архипка успокаивается, перестает дрыгать ногами. Дарья легонько отворачивает ему сонно-отяжелевшее веко, облегченно вздыхает, быстро накидывает поддевку, выходит на улицу.

В лунном свете горят верхушки деревьев над речкой, мелкими стайками бегут облака. В тревоге ночной бродят собаки по гумнам, нюхая теплый пряный воздух тонкими носами, злобно лают на рогатый месяц, разрывающий темные тучи. Сонно бьет церковный колокол двенадцать раз, вскрикивают гуси на речном берегу.

Ночь.

Кто-то тащит мешок кирпичей из барской усадьбы, кто-то отдирает доску из барской растасканной крыши. Резкий крик проржавленных гвоздей похож в темноте на крик человека под ножом. Широко выплескивает гармонь веселые взлохмаченные припевы, брызгами разлетается частушка над сонным селом. Белеют девичьи платки в переулках, взволнованно дрожит девичий шопот.

Ночь.

Окна в Дунаевой избе закрыты налишниками. Только сквозь щели узенькими полосками пробивается огонек, падает на дорогу мягкими качающимися перьями. Слышно, как смеется Маринка рассыпчатым смехом.

Лезет Дарья через забор, с трудом перетаскивая брюхо, долго смотрит в окно со двора. Гаврила Петрович сидит за столом. Волосы у него расчесаны, щеки выбриты, большие красные губы улыбаются сразу двум. Господи, какой он красивый! Никогда Дарья не видела его таким, никогда он и не улыбался так.

— Стой, подлец, стой!

Берет Гаврила Петрович Марьяну за правую руку, водит по избе, что-то рассказывает, а она головой к плечу его прижимается, заглядывает в лицо мягкими, обнимающими глазами. Анна Поликарповна стоит у стола, будто служанка перед господами, хмуро кусает припухшие губы. Берет и ее Гаврила Петрович за правую руку. Марьяну отталкивает. Смеется Марьяна сытым рассыпчатым смехом, поправляет платок на голове.

— Стой, подлец, стой!

Тяжело дышит Дарья под окошком во дворе, не знает, чем сердце унять. И стекла ей хочется перебить, и Марьяну задушить, и Анну Поликарповну отхлестать по щекам, громко заплакать на целую улицу от горькой обиды.

— Стой, стой, не кричи! — уговаривает себя Дарья и крепче, все крепче стискивает зубы, чтобы вытерпеть до конца.

А Марьяна садится на кровать и зовет глазами Гаврилу Петровича, будто котенка. Хочет он сесть, но его держит Анна Поликарповна. Или глаза обманывают Дарью, или во сне происходит все это. Обнимает Анну Поликарповну Гаврила Петрович, и весело так, радостно так улыбается он красными мясистыми губами.

На пороге стоит Дунай в розовых подштанниках. На ногах у него длинные шерстяные чулки, рубашка перетянута узеньким пояском. Рот, как у птицы, разинут в жаркий полдень, и губы слабо шевелятся. Левая рука, прижатая к сердцу, дрожит, ноги подгибаются. Падает Дунай около порога, стукается головой в половицу. Вскакивает Гаврила Петрович с кровати, вскакивают и Марьяна с Анной Поликарповной, и все трое стоят они треугольником возле упавшего Дуная. Потом Анна Поликарповна с Марьяной опять ведут его под руки в заднюю избу, кладут на кровать вверх лицом, дверь из задней избы закрывают крючком. А Гаврила Петрович, расправляя усы, сладко потягивается.

— Какой он красивый!

Сейчас Дарья ворвется в переднюю избу, отхлещет по щекам Анну Поликарповну, задушит Марьяну и будет кричать на целую улицу от горькой обиды. Уже сами ноги ведут на высокое крылечко, сами руки тянутся снять щеколду у сенных дверей, но дверь в сенях на запорке с нутра. Берет Дарья дугу, валяющуюся на дворе, и концом дуги ударяет в дворное окошко. Выбегает Гаврила Петрович на крыльцо, выбегают и Анна Поликарповна с Марьяной, стоят изумленные. Дарья сидит под сараем. Она окаменела, испуганно держит живот обеими руками и ждет, как ее станут бить, как вышибет недоношенного ребеночка Гаврила Петрович большим кулаком; но он говорит:

— Дураков на свете много и на них не стоит обращать внимания. Это, наверное, жена моя...

Поздно ночью Дарья перелезает через забор — утомленная, вялая, с большим потревоженным животом, мелким коровьим шагом уходит домой.

Темно в передней избе у Дуная. Лежит Гаврила Петрович в темной избе на коленях у Анны Поликарповны, обнимает ее за шею крепкими солдатскими руками, и никак не может Анна Поликарповна насытить голодные припухшие губы. Распустились волосы на голове у нее, выпали проволочные шпильки на пол. Сидит она с распущенными волосами, вскидывает руки и снова падает головой на лицо Гавриле Петровичу, снова впивается голодными губами в красные мясистые губы.

Гавриле Петровичу скучно.

Поднимается он с колен, отталкивает Анну Поликарповну с распущенными волосами, долго ходит по избе, поскрипывая левым сапогом.

— Чего же ты хочешь? — спрашивает он и становится у сундука, покрытого самодельной дерюжкой, пристально смотрит на большой четырехугольный замок.

— Только любить тебя хочу! — отвечает Анна Поликарповна. — И никогда никому не отдавать, потому что ты мой. Я и исконфузилась через тебя, потеряла стыд перед людьми. Если этого мало тебе, я все сделаю, чего велишь.

Она отпирает сундук, достает Дунаеву рубашку из зеленого сатинета, праздничный Дунаев пояс с тяжелыми кистями и вешает их на плечо Гавриле Петровичу. Потом вынимает из сундука Дунаевы шаровары, ни разу не надеванные, кожаные Дунаевы сапоги с длинными голенищами, вешает их на второе плечо Гавриле Петровичу, зажигает лампу. Разглядывает Гаврила Петрович при огне новые шаровары и зеленую рубашку, обиженно говорит

— Это зачем?

— Носи. Дунай скоро умрет, — тягостно отвечает Анна Поликарповна.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Уморишь?

Анна Поликарповна наклоняет голову, пряча глаза в половицы.

Гаврила Петрович перетягивает ей поясом горло, лаская смертной лаской, и крепко, последний раз целуя в припухшие губы, говорит:

— Ты! Змея моей жизни! Прощай!

Анна Поликарповна испуганно разевает рот, будто давится, машет руками, отталкивает Гаврилу Петровича и вдруг приседает, вздергивая плечи. А он, все крепче натягивая концы тяжелого праздничного пояса, с улыбкой говорит:

— Вот возьму и задушу тебя на этом месте.

И она отвечает ему помутневшими глазами:

— Души, милый, души!

Но он уходит, поскрипывая левым сапогом. На полу возле стола валяются шаровары с зеленой рубашкой.

Из глаз у Анны Поликарповны катятся слезы.

Несколько минут она сидит, поджавши ноги, будто курица на гнезде, подползает к сундуку, молча кладет голову на сундучную крышку и лежит так, перетянутая за шею праздничным поясом с толстыми кистями.

Слабо тикают часы, словно молоточек постукивает по вискам, и от каждого удара больнее, обиженнее стучит потревоженное сердце, сохнут в глазах невыплаканные слезы. Через час совсем не плачет Анна Поликарповна. Тугим узлом на затылке скручивая распущенные волосы, держит она в зубах проволочные шпильки и гневно переломленными бровями, светлым огнем загоревшихся глаз похожа на огромную кошку с пойманной мышью в белых зубах. Резко хватает со стола чайную чашку с недопитым чаем, выплескивает чай под порог, а чайную чашку грохает об пол.

— Ах, Марьяна! Ах, сволочь такая! Ну, погоди!

Дергаются, кривятся припухшие губы у Анны Поликарповны, крепнут, наливаются руки невысказанной злостью. Теперь она знает, куда ушел Гаврила Петрович.

— Ну, погоди!

А Дунаю все хуже да хуже в задней закупоренной избенке. Щупает ему смерть похолодевшие ноги, дышит в лицо гнилью могильных зубов и никак не может умертвить тощего посиневшего мужика в розовых провонявших подштанниках. Ползает он в темной избе на карачках по полу, ищет воды глотнуть

пересохшим ртом. Нашел большой железный ковш, но воды по ведрам нет, и ведер нет, и огня в избенке нет, и сидит в темноте Дунай с большим железным ковшом на полу, словно нищий у церкви на паперти. Только бы стих монастырский запеть еще хворыми запекшимися губами, да протянуть по-нищенски руку, но молчит Дунай, покачивая головой, и в тоске своей лезет на печку. Долго скоблит ногтями, нащупывая приступок, неожиданно срывается, молча грохается на пол и лежит на полу, широко раздвинув ноги.

Нет, это не смерть наклоняется над ним, и не она щупает Дунаевы плечи: на полу около него сидит Анна Поликарповна и в жалости нахлынувшей гладит ему волосы змеиными пальцами. Поднимает Дунай ушибленную голову и, ненавистью окрепший, плюет в лицо Анне Поликарповне. Несколько секунд плевок висит на щеке у нее, потом она в такой же ненависти бьет Дуная кулаком по голове, прижимает коленкой ему захрипевшую грудь и быстрыми змеиными пальцами хватает за тощее гусиное горло.

Это смерть.

Дунай по-звериному щерит трясущийся рот, тяжело стучит ногами об пол и левым мутнеющим зрачком, налитым предсмертной печалью, смотрит на страшную бабу с белыми оскаленными зубами.

Пальцы у Анны Поликарповны разжимаются.

Перышком легоньким переворачивает Дуная на полу, смотрит она ему в ощеренный рот, вымазанный слюнями, испуганно шарахается в сторону, прижимая сердце, и мечется по темной избе затравленным волком. Быстро запирает дверь, занавешивает два окна во двор двумя платками. Через минуту опять отпирает дверь, стаскивает с окон повешенные платки, кладет Дуная на кровать под цветное одеяло.

Сторож церковный выбивает час.

Слабо вскрикивают гуси на речном берегу.

Ночь.

Лежит мертвый Дунай под цветным одеялом и левым зрачком незакрытым смотрит в темный избяной потолок, будто жизнь свою оглядеть хочет с начала до конца. И видно, как тяжело ему в коротких суетливых днях жилось—наморщилось

переносье, оттянулись посиневшие губы. Сорок два года бегал он по разным дорогам, дышал над хозяйством мужицким, думал о хуторе, о большой молотильной машине, о большом амбаре под зеленой крышей. И казалось ему в короткие суетливые дни, когда думал о большом амбаре, что войдет в этот амбар вся жизнь со всеми радостями человеческими, запрет он ее на большой замок, чтобы обухом не сшибить, и вся нищета в окружности на десять верст снимет перед амбаром дырявые шапки, низко поклонится запертому хлебу:

— Это Ивану Семенычу принадлежит.

А теперь совсем ушел Дунай из коротких дней, и некому будет Терентию Моисеичу рассказывать об орлах, замазанных на вагонах. Белеют только шерстяные чулки да розовые подштанники из-под цветного одеяла, и сидит в смятых волосах вздернутой бороденки большая присмиревшая вошь.

Плохо на том свете бедному человеку, и через темный потолок, засиженный мухами, через скорби, подошедшие в последний час, смотрит Дунай незакрытым зрачком в могильную тоску, ибо он бедный, беднее всех в окружности на десять верст: только шерстяные чулки, да розовые подштанники на согнутых похолодевших ногах.

4

Тяжело, не спится канареевскому батюшке о. Михаилу, и думает он о том, что такое грех, что такое жизнь, и что, в конце концов, означает слово: „смысл существования на земле“. Разные люди думали об этом, разные книги написали для тех, кто совсем не думал, и вот теперь он, о. Михаил, думает, а выходит по-разному, или совсем ничего не выходит.

Скучно.

Ночь и скука сторожат поповское жилище с обтертыми стульями, со старой полинявшей шляпой на старом буфете, где лежит желтая чайная ложка. Ночь и скука смотрят в окно пустыми глазами, и слабый керосиновый свет на столе не может отогнать черную косматую ночь, треплющую верхушки деревьев под окнами. Стоит о. Михаил перед простенком, где раньше стояло трюмо, перед которым матушка распускала

волосы, видит в мыслях своих роговые нарядные шпильки, матушку видит, всю жизнь свою видит: и как пьяный напивался на рождество и на пасху, как на дороге падал, когда с молебном ходил по селу, как газеты читал. Все видит о. Михаил, и все-таки скучно ему. Бывает вот так с человеком.

Скучно!

Перекинуть бы за спину холщевый мешок, перевязанный мочальной веревочкой, захватить суковатую палку потолще и пойти по глухим проселкам, по большим дорогам и весело петь и смеяться: в этом тоже есть смысл существования на земле.

Бывает вот так.

Стоит о. Михаил перед простенком, низко вешает отяжелевшую голову. А когда настойчиво стучат на крылечке в запертую дверь, берет он со стола выгоревшую лампу, встряхивает ее около самого носа, разглядывая догоревший керосин, видит на тесьме утонувшую муху и еще трех мух, сожженных в горелке, старчески шагает к порогу, шлепая самодельными туфлями.

— Кто?

— Это я, батюшка: причастить человека умирающего...

Входит Анна Поликарповна в черном келейном платочке, садится у стенки, опуская встревоженные глаза, жалобно говорит наплаканным голосом:

— Иван Семеныч умирает, батюшка! Сразу, в одночасье случилось...

— Это положено! — мягко отвечает о. Михаил. — Каждому человеку положено время...

Он долго ходит мимо шляпы, брошенной на буфет, где лежит желтая чайная ложка, встряхивает волосами, отгоняя ненужные мысли, и вдруг останавливается.

— Ночь-то какая темная нынче!

— Темная, батюшка.

— Никто не обидит нас с тобой?

— Никто, батюшка, я не боюсь...

Анна Поликарповна вскидывает на о. Михаила кротко опущенные глаза, налитые теплой улыбкой, и о. Михаил смущенно бормочет:

— Ты бесстрашная! Про тебя и слухи ходят такие.

— Про меня?

— Да.

— Какие, батюшка?

— Ну, идем! Слухи бывают и верные и неверные...

Идут они молча по темной улице — прямо перед ними скатывается звезда над колокольней. О. Михаил нечаянно задевает Анну Поликарповну локтем, будто подталкивая в темноте, тревожно втягивает плечи. А когда заходят в избу, где лежит мертвый Дунай под цветным одеялом, он раздумчиво говорит, держа в руке узелок с сухими дарами:

— Не дождался!

Анна Поликарповна плачет. Она стоит на коленях перед кроватью, положив на грудь Дунаю вытянутые руки, и никак не может успокоиться.

О. Михаил опять раздумчиво говорит:

— Не дождался!

Ходит он по задней избе, рассматривая голые, почерневшие стены, заглядывает в переднюю избу, легонько отворяя дверь. На полу валяется праздничный пояс с тяжелыми кистями...

Много скорби в коротких суетливых днях, много ее и у о. Михаила, канареевского попа, овдовевшего пятый год. Надо все познать: что такое грех, что такое жизнь, и что, в конце концов, означает слово: „смысл существования на земле“. Смотрит он на плачущую Анну Поликарповну, положившую руки на грудь мертвому Дунаю, ласково спрашивает:

— Отчего такая смерть случилась сразу?

Видит о. Михаил большие удивленные глаза в слезах, покрасневшие щеки от слез и опять ласково говорит:

— Скоропостижная смерть вызывает сомнения. Не станут его хоронить — Ивана-то Семеныча, придется через начальство хлопотать...

Анна Поликарповна поднимается с полу, становится против о. Михаила, упорно смотрит в лицо просохшими глазами.

— Что же вы думаете, батюшка?

— Я ничего не думаю.

— Не верится вам? Я его убила? Да?

— Могут подумать...

— А вы не скажете, что он сам умер?

О. Михаил отступает в сторону перед Анной Поликарповной, боязливо запахивает подол полукафтанья левой рукой, а она смотрит в лицо ему твердыми просохшими глазами — бесстрашная, в диком порыве ведет его в переднюю избу. О. Михаил вырывается, трясет головой и, стискивая в кулаке старую полинявшую шляпу, выходит на улицу.

Ночь.

Навстречу шагают Марьяна с Гаврилой Петровичем. Гаврила Петрович громко смеется, заглядывая в лицо Марьяне:

— Поп!

И Марьяна громко смеется:

— Он у нее был!

— Ах, чорт!..

Гаврила Петрович выхватывает револьвер из глубокого кармана, весело щелкает в воздух, поверх присмиревших избенок. Еще громче смеется Марьяна, хватая за руки Гаврилу Петровича, а о. Михаил, творя в мыслях своих крестное знамение, испуганно думает:

— Бог с ними! Не буду я ввязываться в такие дела...

5

Хоронят Дуная в пятницу.

Лежит он умытый, причесанный, в желтом пахучем гробу под черным обтрепанным покрывалом, руки крестом сложил, успокоился. И не тяжко ему плыть в прозрачном осеннем воздухе, мягко покачиваясь на новых вышитых полотенцах, не страшно. Отошли печали земные, остановились, порвались короткие суетливые дни. Только на лбу припухла синяя жила, да на губах под мертвыми усами жалобно укрылась скорбная радость кончины. И напрасно плачет Анна Поликарповна в черном келейном платочке, напрасно косит хитрыми глазами по сторонам. Никто не смотрит на Дуная, уходящего в дальний путь, никто не видит на лбу синюю припухшую жилу. Вон и Гаврюшка Кочин стоит с развернутой газетой у крыльца исполкомского, и двое красноармейцев громко смеются над о. Михаилом в коротенькой ризе. Едет Гришка Казаков верхом на тощей буланой кобыле, даже шапки не снимает перед

Иваном Семенычем, отправляющимся в дальний путь а когда узнает, что в большом гробу под черным покрывалом лежит сам Дунай, весело говорит буланой кобыле:

— Готов теперь. Крышка!

От своей избы на дорогу выходит Терентий Моисеич с белой отяжелевшей бородой, останавливает о. Михаила, в руку сует поминанье. И пока читает о. Михаил поминанье, помахивая холодным кадилом, из которого падает легонький сухой уголек, смотрит Терентий Моисеич на желтый пахучий гроб, в крепко сомкнутые глаза уходящего, грустно вздыхает:

— Убили, сволочи...

И еще думает совсем умягченно:

— Помяни, господи, во царствии твоем...

Но тут же сердито плюется:

— Сволочи! Живого человека убили...

Панихиду в церкви о. Михаил служит неохотно. Он, да нищий слепой, по имени Павел, перекликаются двумя голосами, кричат двумя голосами богу далекому, невидимому, непостижимому умом человеческим. Бледно горит свеча запрестольная, бледно смотрит осенний день в потухающие окна за железными решетками. А в каменном, глухом, молчаливом ящике с расписными куполами стоят древние угодники, святители, мученики, мученицы, пророки, пророчицы, угодившие богу цари и епископы. Только старушонка канареевская, великая грешница, не угодившая богу, покорно лежит перед большим сосновым гробом, в котором положен Дунай, и не знает, по доброте своей, за кого надо молиться: за себя ли, нагрешившую не в меру за долгую жизнь, или за Дуная, нагрешившего тоже не в меру за долгую жизнь. И молится она в доброте своей за родственников первого колена, за родственников второго колена, за младенцев, без панихиды в могилу положенных.

Скучно о. Михаилу.

Взглянет он на старушонку, притирающую половицы морщинами желтого лба, но не ее, не грехи старушечьи многолетние видит, а тоску свою — мохнатую, страшную. Смотрит она на него глазами Анны Поликарповны, полными бабьими бедрами, теплой припухшей губой, открывающей теплый лукавый рот,

а слепой нищий, по имени Павел, жалобно просит растроганным голосом:

— Осподи, и-луй!

С кладбища о. Михаил уходит тихой походкой, зябко поднимая плечи. Ему надоедает ходить медленными шагами по большой опустевшей комнате, где стоит перед ним прожитая жизнь, надоедает и в окна глядеть на пустую притихшую улицу. Садится он на стул, пощипывая бороду, закрывает грустные глаза влажными ладонями и —

вот так —

с закрытыми глазами думает о женщине, боясь согрешить. А потом запирается в спальной с одним окном и неуверенно, дрогнувшей рукой, пишет в дневнике у себя:

„Господи, проведи меня по морю сомнений моих и не дай погибнуть грешному рабу твоему в искушениях дьявола. Тягостны мне размышления мои о смысле существования человеческого на земле, тягостна и плоть моя, ибо некому избавить меня от страдания“...

Входит Терентий Моисеич, опираясь на дубовую палку, тяжело постукивает палкой в половицы. Глаза у Терентия Моисеича горят зеленым огнем, губы трясутся. Садится он на сундук против о. Михаила, тяжелым голосом говорит:

— Батюшка, что же это такое?

Торжественно и грустно бьют часы за стеной вечерним монастырским звоном, в саду под окнами слабо кружит березовый листочек, сорванный ветром. Тихо ложится вечерняя тень на полу под ногами, осторожно проходит кошка, выгибая пушистую спину. Терентий Моисеич раскрывает трясущийся рот и опять говорит, обжигая о. Михаила зеленым огнем:

— Батюшка, что же это такое? Ведь она убила его, надо могилу раскопать...

О. Михаил задумчиво смотрит в старую побелевшую бороду Терентия Моисеича, мысленно пересчитывает остаток дней его, в которых ему положено пребыть, видит в мыслях своих Анну Поликарповну с теплыми припухшими губами и вдруг отвечает не своим, неузнаваемым голосом:

— Положиться надо на совесть человеческую, а этого никто не знает, отчего приходит смерть неожиданно...

Терентий Моисеич упрямо стучит в половицу дубовой палкой.

— Нет, батюшка, так нельзя! У меня свидетели есть...

— Кто?

— Жена Гаврюшкина, Дарья. Она сама видела, как душили его две бабы.

— Две?

— Да.

— Кто же другая?

— Дочь моя, Марьянка...

О. Михаил подходит к окну, долго смотрит в желтый облетающий сад, где медленно падают сорванные листья, видит в мыслях своих Анну Поликарповну, согрешившую ради жизни своей, видит Марьянку, помогавшую ей согрешить, и ласково, с легкой усмешкой говорит Терентию Моисеичу:

— Бог с ними! Человека трудно судить, и мертвого из могилы не поднимешь. Бросить надо. Если же заводить судебное дело в нынешнее время, много неприятностей получиться может... Оставить надо на совести убивающих...

А когда уходит Терентий Моисеич, не получивший успокоения в гневе своем, по дороге ему встречается Марьяна дочь. Бежит она улицей в праздничной жакетке, повязанная малиновым полушалком, словно кобылица степная раздувает молодыми встревоженными ноздрями. Не видит Марьяна отца, опирающегося на дубовую палку, не видит и печали стариковской на лице у него. С крыльца ей вслед выкрикивает Анна Поликарповна:

— Марьяна! Марьяна!

Стоит на крыльце Анна Поликарповна в сумерках осеннего вечера злая, разгневанная, волосы под платком растрепались, губы, прикушенные острыми зубами, плотно стиснуты.

— Ну, погоди, сволочь такая, я покажу тебе...

Сжимает Анна Поликарповна по-мужицки маленький бабий кулак, топает ногой о крыльцо, злобно смотрит на Терентия Моисеича, остановившегося посреди улицы.

— Ну, погоди!

Ночью к ней приходит Гаврила Петрович и в темной избе, не зажигая огня, бьет ее по голове большим солдатским

кулаком. А когда Анна Поликарповна падает на колени перед ним и хочет поймать вытянутыми руками городские сапоги на высоких каблуках, он молча, уже без злобы, тычет ей в зубы левым сапогом:

— Ты зачем уморила мужа? В тюрьму хочешь посадить меня?

Анна Поликарповна молчит, сплевывая красные горячие слюни с разбитых губ, по-собачьи вздрагивает мелкой дрожью. С полу она пересаживается на скамейку и сидит на скамейке темным неразгаданным призраком, тяжко покачивая растрепанной головой. Тогда Гаврила Петрович наливается вдруг жалостью неожиданной, ласково гладит по растрепанной голове тяжелой солдатской рукой, ласково говорит изменившимся голосом:

— Хочется мне убить тебя до смерти! Слышишь? И я обязательно сделаю это, потому что ты и меня уморишь, как Дуная. Только помни, Аннушка, я не такой человек, который боится тараканьего мору! А если бил сейчас, то потому, сволочь ты этакая, что люблю я тебя больше жены своей, больше Марьяны и больше всех баб, которых я знаю. Слышишь? Больше всех баб!

Анна Поликарповна молчит.

— Сердишься?

Опять молчит Анна Поликарповна.

— Ну, ревнуй меня к Марьяне, ревнуй ко всем бабам! Ревнуй! Я же люблю тебя...

Берет Гаврила Петрович Анну Поликарповну в охапку и молча, с неостывшей еще яростью, кладет на кровать, чтобы посмеяться над глупой обиженной бабой, которая на все пойдет, как собака, любящая своего хозяина. Но в темноте смотрят на него хищные глаза дикой кошки, в темноте он видит промелькнувшую руку, и рука эта неожиданно бьет Гаврилу Петровича по щеке и еще раз по другой щеке. Смятый стыдом и болью, он отскакивает на два шага от кровати, потом бросается вперед, чтобы на месте раздавить дьявольскую бабу, а ее уже нет на прежнем месте, и в избе нет, и бежит она из ворот на улицу с растрепанной головой.

6

А Дарья Кочина, согрешившая ради жизни своей, валяется на кровати в избенке у себя — растерзанная, измученная, с широко разинутым ртом, и в тоске своей предсмертной жадно хватает перепрелый воздух, густо пахнущий навозом со двора. Захотела она радости освобождения от пятого ребенка, чтобы удержать при себе Гаврилу Петровича, бегающего по чужим тонкобрюхим бабам, но подошло к Дарье горе-горькое, сама смерть подошла, холодно смотрит в лицо. Ползает Архипка по полу, горько плачет надрывным, истекающим голосом. Не слышит Дарья Архипкиных слез, мечется, охваченная страхом и болью, слабо шевелит побелевшими губами:

— Господи!

И господа нет, и ему не нужна смешная корявая баба, истекающая кровью. Только черный угодник на черной доске в переднем углу смотрит с божницы черным пятном, и Дарья без памяти говорит черному безглазому угоднику:

— Дяденька, миленький, помоги, христа-ради!

Мрак.

Ночь.

Тишина.

Лезет Архипка на кровать к замолчавшей матери, теплыми пальцами царапает ей щеки, будто слепой голодный котенок, громко кричит:

— Ма-а-ма!

Прижимает его Дарья к самому сердцу, чтобы не плакал, душит дерюгой, чтобы ногами не брыкался, и —

— вот так —

приросшие телом друг к другу, лежат мать с сыном на кровати, тоской и страданием придавленные...

Приходит старуха Ипатова — черный беззубый гриб — наливает Дарье в разинутый рот наговорную воду, кладет на Дарьину грудь старинное медное распятье, жалобно шепчет:

— Иисусе сладчайший, спаси нас.

— Пресвятая богородица скорбящая, спаси нас.

— Святителю отче Николаюшка, спаси нас.

— Спи, Дарьюшка, спи, а ты, Архипушка, не плачь. У мамы твоей бо-бо, мама твоя бай-бай хочет, и ты не дрыгайся...

Зажигает Ипатова старуха желтый огарок перед черным безглазым угодником, гонит кошку со стола, щупает согнутым пальцем масло деревянное в лампадке на трех прокоптевших шнурках, но давно высохло масло, и лежат на донышке вместо него сухие мертвые мухи.

— О, господи!

Трещит-потрескивает фитилек у желтого огарка, тонкая стрелка мотающегося огонька острым копьем вонзается в бесчувственное сердце угодника, дрожит между потемневших глаз — и вдруг потухает.

— О, господи, помилуй!

Ночь.

Мрак.

Тишина.

Опять кошка лезет на стол, и, вместо огарка потухшего, остро светит со стола кошачий глаз, слышится жалобный кошачий голос:

— М-м-я-у!

Это господь потушил зажженный огарок, потому что не хочет он простить Дарью согрешившую, не хочет и раскаянье бабье принимать. Чиркает Ипатова старуха спички отсыревшие, и спички гаснут, и кошка испуганно шарахается со стола и роняет деревянную солонку на пол.

Жуть.

Муть.

Тоненький писк под ногами, будто мышь раздавила Ипатова старуха.

— О, господи!

Это бесы потешаются, и разные духи злые дуют черными губами.

А когда опять вспыхивает зажженный огарок в переднем углу, громко вскрикивает Дарья без памяти, сбрасывая на пол старинное медное распятье.

— Ма-а-ма!

И Архипка кричит, хватаясь за Дарью:

— Ма-а-ма!

Но мама Дарьина в земле, давно лежит за низенькой церковью на густо посеянном кладбище. Сорок два года работала и все молчала. Плакала украдкой и молчала. С двоими мужьями жила на недолгом веку. Оба они били ее: и в будни и в праздники, и пьяные, и трезвые. Били со злобой и без злобы, как бьют лошадей от нечего делать. А она, Дарьина мать, улыбалась им добрыми овечьими глазами, величала по имени-отчеству, плакала втихомолку и — молчала. Потом не сказалась никому, не простилась ни с кем и совсем неожиданно, сорока двух лет, ушла за низенькую церковь, на густо посеянное кладбище. Лучше там. Весной и летом бродят телята, по целому дню мирно гудят странники-жуки, потерявшие дорогу в зеленой траве, и хлопотуньи-пчелы, живущие на пчельнике у Павла Иваныча, собирают сладкий мед, душистый мед с желтых цветочков, выросших на могилах мужицких...

И когда шла Дарья за гробом матери, была она тогда и сама молодая, выпившая первую каплю материнского горя, а день был весенний, теплый. Грустно перезванивали колокола, встречая Дарьину мать, над колокольней мягко кружили потревоженные голуби. Плакала тогда Дарья горькими неутешными слезами — не на показ плакала, — ибо осталась она и сама, молодая мать, маленьким ребенком, и во всем мире некому стало пожалеть ее. Хорошо жалеют только матери. Только у матерей и сердце такое — огромный колодец, и не вычерпать из него любви и жалости материнской ни в год, ни в два, ни в целую жизнь.

И после плакала Дарья, но Гаврила Петрович сказал ей:

— Брось нюни разводить — не маленькая...

И было с Дарьей то, что было с матерью: бил ее Гаврила Петрович со злобой и без злобы, „любя“ и в шутку, а она улыбалась ему добрыми овечьими глазами, как у матери. Потом выпила вторую каплю материнского горя — понесла второго ребенка. И в короткие летние ночи, в длинные зимние ночи мучили Дарью два детеныша, как два любимых змееныша: высасывали грудь, высасывали кровь, молодые румяные щеки, голубые девичьи глаза. Через год еще капля материнского горя: понесла Дарья третьего ребенка, положила на грудь себе третьего любимого змееныша. Пожелтели у нее

щеки, потухли глаза, никогда не высыпавшиеся досыта. Оттянулся живот пустым мешком, повисли, обносились груди с почерневшими сосками, и, вымазанная навозом, ребячьими ртами, пеленками, стала Дарья глупой, смешной, корявой и всегда только одного хотела:

— Спать.

Крепко спал по ночам только Гаврила Петрович, отвернувшись к стене, и не слышал, как плакала втихомолку глупая, корявая Дарья, замученная ребятишками. А теперь он совсем не хочет видеть Дарью, потому что любимые змееныши высосали ей кровь, румяные щеки, голубые глаза. И вся жизнь у Дарьи прошла только в том, что рожала она каждый год крикливых ребятишек и каждый год стаскивала их на кладбище, за низенькую церковь. И теперь вот она, захотевшая потерянной красоты, чтобы нравиться мужу, как нравилась девушкой, истекает кровью. Но почему же бог устроил так, что все несчастье ложится только на бабу? Почему родить, и в родовых схватках кричать по-звериному, и плакать над рожденными, не спать по ночам из-за них должна только баба? Ну какой же это бог, который так жестоко, так больно обидел бабу?

Поднялось в Дарье темной волной озлобленье на жестокого бога, и, вспыхнувшая гневом страдания своего, сорвала она с груди у себя старинное медное распятье, положенное Ипатовой старухой, бросила на пол, в ужасе закричала:

— Ма-а-ма!

И Архипка, напуганный матерью, закричал:

— Ма-а-ма!

Но мамы нет. Стоит над Дарьей о. Михаил в старенькой закапанной воском эпитрахили, и сам не верит тому, что делает, а по привычке, голосом привычным говорит:

— Не мне каешься, я только свидетель...

Не знает Дарья, откуда начать ей, ибо грешна она с самого детства; даже тем грешна, что родилась девчонкой, бабой, и вся жизнь у нее, как густая зеленая яблоня яблоками увешана, украшена неперечтенными грехами, вольными и невольными. Слушает о. Михаил, — и душно ему в маленькой избенке, наполненной грехами, страданьем и горем, сжимает он в кулаке

дрогнувшую бороду, видит слезы, покатившиеся из Дарьиных глаз, тягостно говорит:

— Не плачь.

А Дарья чуть-чуть поднимается, видит перед собой не попа, не о. Михаила, — нет. Здорового мужика видит она, которому не дал бог бабьего страданья, и, протягивая шею, злобно шипит ему в оттопыренную бороду:

— Уйди! Не хочу я... Уйди...

И о. Михаил говорит Ипатовой старухе:

— Без памяти она, причащать нельзя.

А когда он свертывает эпитрахиль на столе, входит Гаврила Петрович, пристально смотрит на о. Михаила. О. Михаил смотрит на него, и в глазах обоих недоуменье, усталость, тайный невысказанный страх. Гаврила Петрович первый преодолевает в себе слабость, насмешливо говорит:

— Причастил?

— Нет! — отвечает о. Михаил.

— Почему?

— Без памяти она.

— Ну, уходи отсюда, я не признаю твоей ворожбы...

Вместе с о. Михаилом уходит и старуха Ипатова: он — впереди, она — позади. В дверях она останавливается, плюет, грозит Гавриле Петровичу согнутым пальцем, похожим на птичий коготь, а он только досадливо машет рукой и медленно, медленно ходит по избенке, поскрипывая левым сапогом. Да, он несчастный человек. Рано женился, когда был простым парнем, а теперь комиссар, член ячейки, но у него корявая жена и сопливый сын, которого хочется стукнуть кулаком по рыжей телячьей голове. Разве ему такая нужна жена? Разве ему в такой избенке полагается жить? А вернее — ему никакой жены не нужно, ибо коммунисты совсем не признают жен, тем более — похожих на Дарью, которая не может речь сказать. Тут, конечно, свобода, и это надо понять, кто имеет сознательность... Увидя Архипку, широко разевающего рот, Гаврила Петрович наливается к нему невысказанной злостью и, как в исполкоме на богатых мужиков, громко кричит:

— Замолчь!

Потом останавливается около Дарьи.

— В чем дело?

Голос у Гаврилы Петровича строгий, жесткий, пальцы рук нервно подергиваются. Обернувшись по избе два раза, он опять останавливается возле кровати и сразу другим голосом:

— Дура ты!

Дарья молчит.

— Вот и издыхай теперь! — сердится Гаврила Петрович.— Думаешь, жалеть буду? Ничего подобного! Кто тебе сделал эту чертовщину?

В темных усталых глазах Дарьи вспыхивает зло. Сразу — вдруг — делается она сильной, здоровой, решительно поднимается с кровати в одной рубашке, идет в чулан и тут же сразу — вдруг — садится на полу в чулане, жалобно просит испуганным голосом:

— Гаврюш... Больница...

Несколько секунд Гаврила Петрович стоит в недоуменьи посреди избенки, а назойливая мысль упорно сверлит в распухающей голове:

— Пусть умрет... Пусть умрет...

Но кто-то другой, помимо Гаврилы Петровича, наклоняет ему крепкую спину, вытягивает руки, и берет он вытянутыми руками Дарью под-мышки, укладывает на кровать, заботливо одевает дерюгой:

— Спи! Завтра! Некогда мне сейчас...

И кажется Дарье — только на одну минуту, — что легко и радостно поднимается она вверх, на крепких руках, будто в мягкой убаюкивающей зыбке; не хочется, страшно ей уходить с этих рук, но руки разжимаются, и Дарья падает вниз, теряя сознанье...

. . . .

Этого Анна Поликарповна не ждала. Племянник Дуная Петр Васильевич Зотов давно уже пропал без вести, говорили — погиб в Сибири, когда бежал с чехами, а теперь этот самый племянник, этот самый Петр Васильевич Зотов стоял перед ней с тяжелой ременной плетью, подвешенной к кожаному поясу, и тяжелыми страшными глазами смотрел ей в побледневшие губы.

— Здравствуй, тетя. А дядя как?

Одна только защита, одна каменная стена — это слезы, и Анна Поликарповна, вытирая глаза, рассказывает: помер дядя, помер Иван Семеныч, царство небесное — совсем неожиданно, помер в одночасье. Пошла она за батюшкой, о. Михаилом, чтобы исповедать и причастить больного человека, а он и помер на глазах у него. Только сказать успел: когда, говорит, вернется Петя, пусть он хозяином становится здесь...

— Веди попа! — сказал Петр Васильевич Зотов и черенок ременной толстой плетки крепко в кулаке стиснул.

— А зачем его, Петенька?

— Веди!

— Спит он теперь. Лучше завтра, Петенька! Я самовар согрею пока...

— Не говори со мной много по этому случаю!

Если в околицу удариться, в степь, и там найдут... Если на гумне зарыться в солому, и там найдут. Господи, что это такое? Пробежала Анна Поликарповна одну улицу, пробежала другую улицу — вот и площадь церковная, вот и батюшкин дом, а в дому огонь горит, поздний огонь нехороший, будто глаз волчий смотрит в темноту потревоженной улицы. Вошла на крылечко Анна Поликарповна, и дверь не заперта, человек стоит на крылечке, спрашивает:

— Кто?

Дрожат руки у Анны Поликарповны, дрожат ноги, дрожит все тело, глаза наливаются страхом.

— Это я! — говорит Анна Поликарповна. — Батюшку надо позвать.

— Куда?

— В дом к себе, к Ивану Семенычу Дунаеву. Племянник к нам приехал Петр Васильич Зотов.

— Тетка его?

— Да, родная тетка.

— Идем со мной...

Идет Анна Поликарповна, и сама не знает куда, боится спросить. А когда проходят темные сени, черным ртом открывается дверь, и снова яркий свет ударяет в глаза. Это

вон батюшка о. Михаил сидит за столом, а это кто? Большая кудрявая голова, большой горбатый нос, ружье за плечами.

— Вот! — говорит человек, другой человек, приведший Анну Поликарповну.

— В чем дело?

— Та самая!

. . . .

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

1

Бывает вот так: идет-идет человек по ровному полю, и вдруг канава под ногами — хоть стой, хоть прыгай. Подумает человек и прыгнет. Случилось это самое с Иваном Демьянычем Перепонкиным, служащим губпродкома. Тридцать шесть лет прошел он по ровному полю, и выросла вдруг, совсем неожиданно, перед глазами у него партия коммунистов: или — в нее, или — мимо нее. Но куда Ивану Демьянычу мимо, если ни одна партия не способна пристроить его в губпродком на ответственное место — старшего агента для сношения с мужиками. Подумал Иван Демьяныч, охваченный волнением неиспытанным, грустно сказал самому себе:

— Запишусь. Там обозначится...

Сослуживец его, младший бухгалтер товарищ Кропотов, узнав об этом решении, сомнительно покачал головой:

— Не выдержишь, Перепонкин!

В этот раз Иван Демьяныч не поверил сослуживцу Кропотову, только нахмурился от досады, а придя на занятия утром, спросил:

— Почему ты думаешь, что я не выдержу?

— Характер слабый у тебя!—улыбнулся Кропотов.—Коммунисты народ железистый, в сентиментальности не вдаются, а ты, как известно, интеллигент, учился в городском училище и, можно сказать, пшеничное тесто. Можешь ты муху раздавить, чтобы не каяться после?

На этот раз Иван Демьяныч обиделся, и не только обиделся, крепко подумал:

— Неужели это правда?

Дома за обедом увидел он на столе четырех мух, севших около хлебной крошки, и, вспомнив утверждение сослуживца Кропотова, поглядел на них суровым уничтожающим взглядом. Да, он может убить без раздумья, не испытывая даже брезгливости, и никто, ни один человек не имеет права заподозрить его в интеллигентской размягченности. Но как только Иван Демьяныч приготовил ладонь, чтобы сразу накрыть четырех мух, у него дрогнули пальцы. Представил он мушиную грязь, вдохнул носом неприятный запах раздавленных мух и в одну секунду брезгливо поморщился. Продолжалось все это не больше минуты. Зажмурив глаза, Иван Демьяныч высоко занес правую руку вторично, без всякого колебания и сразмаху ударил по столу, где сидели мухи. Жена, Наталья Петровна, удивленно спросила:

— Ты что?

Иван Демьяныч так же удивленно посмотрел на покрасневшие от удара пальцы, поднес их к губам, чтобы мужественно воспринять неприятный запах, но, к новому его удивлению, мух на столе не было — ни живых, ни мертвых. И вообще не могло их быть в эту пору. Стояла зима, декабрь месяц, а мухи, как известно, живут в квартирах мелких чиновников весной и летом, начиная с половины мая, когда отворяются окна. Теперь окна были закупорены двойными рамами — откуда взяться мухам? И все-таки, как это ни странно, Иван Демьяныч видел именно четырех мух, мысленно даже разговаривал с ними перед их неожиданной смертью, в глубине души смеялся над ними и заодно, вместе с этим, мысленно торжествовал победу над сентиментальностью своего характера:

— Что. Не выдержу?

На столе лежала хлебная крошка, густо дымились жирные бараньи щи в цинковой кастрюле. Иван Демьяныч пощупал крошку двумя пальцами, заглянул почему-то под стол, вскинул глаза в потолок. Мух не было. Грустно пообедав, не разговаривая с Натальей Петровной, тоскливо прилег на кровать, сморщивая лоб, упрямо стал смотреть в одну точку. Тут же вспомнился сослуживец Кропотов, младший бухгалтер, обозвавший Ивана Демьяныча интеллигентом, не способным на сильную волю, и стало от этого горько, обидно. Неужели

правда? Неужели в характере Ивана Демьяныча решительно нет ничего революционного, твердого. Да, он воспитан в иных условиях, в некоторой мягкости, в некоторой, так сказать, мечтательности и романтике. Например: он не может видеть кровь, не может зарезать курицу, а когда читает повести и рассказы о любви, о бедности, у него токает сердце, появляются слезы на глазах, и чтобы успокоить себя, всякий раз после этого становится он еще мягче, еще нежнее с Натальей Петровной, даже с животными, и всякий раз при виде нищих запускает он руку в карман, чтобы вытащить оттуда мелочь. И если Иван Демьяныч всякий раз никому ничего не дает, то потому только, что не оказывается мелочи в кармане. Ставку он получает не особенно крупную. Короче и определеннее: по характеру своему Иван Демьяныч ближе всего стоит к социалистам-революционерам той категории, которая, в свою очередь, ближе всего стоит к социалистам-революционерам романтикам, воспитанным в некоторой нежности, в некоторой сентиментальности. Но теперь не хочет этого Иван Демьяныч. Теперь вся жизнь рассматривается с точки зрения марксистов, и спасти страну могут только большевики-коммунисты, отвергающие сентиментальность. Иван Демьяныч вполне искренно сознал свои ошибки и желает рассматривать жизнь с точки зрения именно марксистов. Неужели у него не хватит силы развить в себе железную волю?

На стене из оторванного кусочка обой вылез в это время сухой рыжий клоп, вдруг остановился, стал смотреть на Ивана Демьяныча. А он, Иван Демьяныч, открыв пошире глаза, приподнял голову с подушки, увидел, как тощий рыжий клоп принял облик знакомого человека в образе сослуживца Кропотова, и Кропотов, похожий на клопа, насмешливо кивнул головой:

— Здравствуй.

Иван Демьяныч сощурился, потом снова закрыл глаза и пролежал так с закрытыми глазами несколько минут, не желая разговаривать. Но сослуживец Кропотов, похожий на клопа, спустился со стены на подушку, подполз к самому уху, уязвительно шепнул:

— Не выдержишь!

Иван Демьяныч нервно тряхнул головой и в эту же минуту почувствовал себя укушенным в шею. Он быстро вскочил с кровати, расстегнул ворот у рубашки, сильно потряс распоясанной рубашкой, увидел на одеяле другого клопа—жирного, толстого, и без раздумья, без особой злости придавил клопа правым указательным пальцем.

Конец!

Плюнул Иван Демьяныч на окровавленный палец, мягко подумал: „Сволочь!“ Покрыл голову одеялом и минут через десять крепко заснул.

2

На другой день еще подтверждение получилось в твердости характера. Иван Демьяныч написал письмо в редакцию газеты и решительно заявил в этом письме, что он, Иван Демьяныч Перепонкин, категорически выходит из прежних убеждений и с партией социалистов-революционеров ничего общего не имеет с 1918 года, к каковому заявлению и руку приложил. А когда заявление было напечатано, Иван Демьяныч положил номер газеты в боковой карман и носил его в кармане целый вечер, целую ночь и целое утро на следующий день. В это самое время и показалось ему, что вырос он на другой земле, под другим небом и с прежним Иваном Демьянычем ничего общего не имеет. Даже карточку фотографическую хотел разорвать, чтобы не видеть прежних глаз, прежнего лица, ибо лицо и глаза на карточке были в некоторой сентиментальности, в романическом устремлении, и эдакий хохолок на лбу, изобличающий мягкость характера. Но тут вступилась Наталья Петровна, потому что вместе с ним на карточке была и она, запечатленная в счастливые годы супружеской жизни—с цветочком на груди и с большим альбомом на коленях. А сзади пейзаж: деревцо, тучка и маленькое озеро с плавающим лебедем. Так и сказала Наталья Петровна, желающая остаться при прежнем характере:

— Не делай этого, Ваня. Положу я лучше карточку в сундук, если тебе неудобно теперь, и пусть она лежит до возраста лет ребятишек наших. Все-таки им интересно будет посмотреть, какие мы были.

Иван Демьяныч согласился только при одном условии, что карточка, действительно, будет лежать в сундуке, и ни один человек из партийных товарищей не должен ее видеть, по крайней мере года три — четыре, пока ничего не обозначится. Дальше потом вышел крупный разговор об иконах. Было их две, и обе стояли с венчальными свечками под стеклом. Одна, та самая, которую держал в руке Иван Демьяныч, когда венчался, обгорела побольше, другая, которую держала Наталья Петровна, обгорела поменьше, и в этом по старому времени скрывалась примета: умереть должен раньше Иван Демьяныч. Теперь ему, как сознательному человеку, стыдно было верить в приметы, стыдно держать и самые иконы, и он решительно заявил жене:

— Поскольку я теперь член партии коммунистов — надо убирать.

— Ваня! — сказала жена. Ты — член, я — не член, оставь одну икону для меня.

Но Иван Демьяныч решительно покрутил головой:

— Этого нельзя, Наташа! Ты понимаешь, я могу нечаянно перекреститься, если хоть одна икона останется на глазах у меня.

Снимал иконы сам Иван Демьяныч, взобравшись на стул. Вдруг поднялся невидимый ветерок и пахнул в лицо с иконной изнанки. Одна икона выскользнула из рук, с шумом ударилась об пол. В эту же минуту закачался стул под Иваном Демьянычем, у него задрожали ноги, на лбу выступил пот, и он в большом волнении наклонился над упавшей иконой.

— Ваня, милый, не греши! — ласково сказала Наталья Петровна.

Иван Демьяныч сел у стола, глубоко задумался, Да, теперь он не верующий. Никто, ни один человек не имеет права сказать ему, что он придерживается старой религии, но почему же в душе у него будто котенок пищит и лапкой скребет где-то там, на самом донышке, в далекой неизвестной глубине? Неужели сентиментальность осталась? Ерунда. Этого не должно быть. Пусть верит жена, пусть она становится на молитву, он ей оставит одну икону, а сам Иван Демьяныч Перепонкин сделает вот так...

Он решительно встал из-за стола, прошелся по комнате, насмешливо передернул плечами:

— Чудаки. Неужели в наше время можно верить каким-то иконам?

Говорил он долго, будто на митинге стоял, но слушала его только Наталья Петровна. Потом она спросила:

— Ваня, а крест на тебе куда денешь?

Иван Демьяныч рассердился, но в эту минуту ничего не сказал. Лег на кровать, закрыл голову одеялом и мысленно начал ругаться с прежним Иваном Демьянычем, не похожим на теперешнего Ивана Демьяныча. Прежний Иван Демьяныч кротко говорил ему:

— Что крестик? Его никто не увидит. Держи под рубашкой каждый раз, а как в баню общую соберешься итти — снимай, чтобы разговору меньше было среди знакомых. Крестик может всегда пригодиться, не ахти какая тяга в нем. Монахи-пустынники вериги носили по сорок фунтов весом, неужели крестик помешает тебе? Крестик всегда пригодится...

Теперешний Иван Демьяныч, член партии коммунистов, злостно отвечал Ивану Демьянычу:

— Эх, интеллигент несчастный! Соглашатель, чорт бы тебя побрал. Прав, тысячу раз прав бухгалтер Кропотов! Неужто прав?

Иван Демьяныч сбросил вдруг одеяло, нервно оборвал тесемочку на шее, хотел бросить крестик тут же под кровать, но в виду того, что он серебряный и стоит по теперешним временам кое-какие деньги, которыми не стоит кидаться, он бережно положил его на подушку, осмотрел со всех сторон.

ПРО НЕГО

1

Доктор так и сказал:

— Абсолютная тишина, свежий воздух, побольше растительной жизни.

Дача маленькая, зеленая, в сосновом бору. В полдень пахнет смолью, сосновыми шишками, грибами. На террасе прохладно. Белый никелевый самовар пускает пары.

Доктор так и сказал:

— Побольше растительной жизни.

В сосновом бору абсолютная тишина.

Лежит большой советский работник Петров на лужайке под солнышком, рубашка нижняя расстегнута. Грудь волосатая загорела. Целыми часами лежит. Рядом — щенок породистый, с розовым носом. Раскинул короткие ноги.

Петров ему брюхо чешет двумя пальцами. Щенок дремлет. Сонно раскрывает глаза, лениво шевелит ухом. Дремлет щенок. Мухи гудят. Дремлет и большой советский работник Петров. Желтый петух курицу водит. Жена на пьянино играет. Свежий воздух.

Открывает глаза Петров — облака по небу плывут.

Октябрьская революция.

Ленин.

Троцкий.

III Интернационал.

Плывут облака, солнцем расписанные. Корабли неведомые плывут в неведомые страны. Хорошо сказано у поэта Владимира Кириллова:

Паруса золотых куполов,
Мачты древних причудливых башен.

Да это „Красный Кремль“, стихотворение Владимира Кириллова.

Помнится такой поэт. Писал о революции:

> Гремят раскаты боевые,
> Гудит набата красный звон.

Чудак!

Надо будет книжек больше накупить. Полное собрание сочинений. Этикет. Культура. Образование. Хороший тон. Пьянино. Музыка. Ванна. Пушкин. Лермонтов. Какие там еще писатели? Наплевать! Полное собрание сочинений.

Дремлет Петров. Глаза закрываются. Тают облака, солнцем расписанные.

Уплывают корабли неведомые в неведомые страны.

Абсолютная тишина.

Странно устроена жизнь человеческая! Был Петров просто Петров, ходил в кожаной фуражке, теперь большой советский работник. Чулки у жены шелковые, глаза томные. С образованием она у него, умеет играть на пьянино, учит Петрова кланяться, улыбаться, хмурить лоб, когда это нужно. Сама образованная — хочет, чтобы и Петров был образованный. Изящная словесность в дому необходима. Да! Интересно устроена жизнь человеческая! Впрочем, не стоит об этом. Доктор так и сказал:

— Побольше растительной жизни.

А что теперь пишут в газетах? Рабочие недовольны директором?

Скучно!

— Саранча? Продналог?

Это уж из другого комиссариата. Там Петров не служит.

Пахнет сосновыми шишками. Абсолютная тишина.

Падает газета — глаза закрываются.

2

Сон.

Идет большой советский работник Петров — под ногами ковры. Мягкая мебель кругом, огромные комнаты. В одной — играют на пьянино, в другой — спорят об изящной поэзии.

В третьей — решают международный вопрос. У подъезда автомобили. В приемной — просители.

— Чей это дом?

— Ответственного работника Петрова.

— Мой?

— Так точно.

— Чорт возьми!

Глядит Петров в одно зеркало — лицо хмурое, брови переломлены. Это полагается так, если имеешь собственный дом. Глядит в другое зеркало — лицо веселое, мягкая улыбка на губах. Это тоже полагается так, когда разговариваешь с другим большим работником, вроде директора. Жена прекрасно знает тонкости хорошего образования.

— А чья это библиотека?

— Ваша.

— Моя?

— Так точно.

— Чорт возьми!

Все знаменитости собраны у Петрова: поэты, писатели, критики, философы, мореплаватели, изобретатели.

— Александр Пушкин здесь?

— Извините, товарищ Петров, меня притащили насильно.

— Ничего, ничего, Пушкин, не стесняйся. Я тревожить не стану. Михайла Лермонтов!

— Извините, товарищ Петров, какое мое назначение здесь?

— Леже, лежи. Это я после обдумаю.

Похлопал Петров Пушкина с Лермонтовым по плечу, осторожно шепнул:

— Главное дело — этикет, культура, полное собрание сочинений. Понимаете? Полное собрание сочинений!

Салтыков-Щедрин рассердился.

— Всю жизнь писал про чиновников и лежать приходится у чиновника.

Николай Гоголь с длинным носом смеется.

— Скучно, господа, на белом свете.

КАК У НАС ВОЙНА БЫЛА

РАССКАЗ МАЛЬЧИКА.

Лег я в эту ночь на полу около скамейки, а мне чего-то не спится. Лежал-лежал, тут еще нога зачесалась, и пить захотелось маленько. Поднял я голову, а в избе у нас, как в погребе, — не видать ничего. Слышно только, мама дышит на кровати, да корова за стеной чешется, и будто мышь в углу лапкой скоблит. Напугался я, опять хотел заснуть, с головой закутаться, а в это время в колокол на церкви ударили, кто-то под окошком закричал. Вскочила мама с кровати, а я лежу ни живой ни мертвый, и язык у меня не ворочается. Гляжу без огня, сам ничего не вижу. Мама по избе бегает, спички ищет, чтобы лампу зажечь, а спички словно нарочно делись куда-то.

— Санька, Санька! — кричит мама мне. — Проснись скорее, сынок, случилось чего-то у нас...

Слышу я, как она бегает, а подняться боюсь, и ноги у меня начали дрожать, и горло будто веревкой перетянули мне. Хочу-хочу сказать, что я не сплю, а голос будто не мой стал. Вдруг вся изба наша затряслась, зазвенели окошки, будто кто ударил по ним. Вскочил я босиком и давай кричать:

— Мама! Мама!

Я ее ловлю за руку, не пымаю никак, она меня ловит за руку, не пымает никак, потому что в избе больно темно, и сами мы с перепугу не видали ничего. Стукнулся я головой о косяк, мама ведро ногой уронила, по всему полу вода полилась. На улице собаки завыли, за стеной корова наша замычала. Совсем я не помню, как мама спички нашла, зажгла лампу, сама трясется вся, и я около нее дрожу. Мне бы делать

надо чего-нибудь, а я и сам не знаю, чего мне делать. Мама кричит над головой у меня:

— Санюшка, миленький, война начинается. Куда мы с тобой побежим!

Тут как грохнет на задах у нас, я инда присел маленько. Гляжу — прямо в дверь, из сеней к нам бежит тетка Прасковья в одной рубашке и скалку держит в руке. Мама хотела чего-то сказать ей, а она как замахнется скалкой.

— Туши огонь! Казаки по избам ходят...

Машет тетка Прасковья скалкой, а в окошко будто молния сверкнула. Тут я еще больше испугался. Мама в сундучишко полезла, чугунки без памяти собирает, стонет, охает, а я как мертвый стою. Она меня за руку дергает, кричит словно глухому: „Санька!..“ — а я с места тронуться не могу. Тут опять ударило на задах, ухнуло и давай щелкать, будто кнутом пастушьим. Сначала не понял я, думал — нарочно кто баловает, потом догадался, что это из ружей стреляют. Схватила мама тятину шубу, напялила на себя, а в руках чугунок с кашей держит, сует мне его, сама чуть не плачет:

— Держи, держи, бежать надо...

Взял я чугунок, мама схватила ботинки из-под кровати, хлеба каравай, ведро пустое, и оба мы выбежали на улицу. Прижимается она к забору и мне велит наклониться. Наклонюсь я пониже, чугунок падает из рук, не видать ничего. Оступился я тут в одном месте, как полечу через кочку, и чугунок мой в сторону покатился, насилу нашел его, а мама в потемках кричит:

— Скорее!.. Скорее!..

Бежим мы с ней, и навстречу нам бегут. Кто верхом скачет, кто на телеге. В одном месте старуха Липатова наткнулась на нас с иконой в руках, а Сидоров старик сидит на карачках в переулке и кричит:

— Батюшки!.. Батюшки!..

Лошади ржут, ружья трескают, и будто молния все время играет над нашим селом.

— Мама, — говорю, — куда нам бежать?

А она не оглядывается, бежит и голос мой не слышит. Выбежали мы в дальний переулок, а из другого переулка

прямо на нас трое верхом скачут. Я взял и присел маленько около плетня, чтобы не видать меня было, а мама не знала, что я присел, побежала дальше. Хотел и я бежать за ней, а в это время стрелять в переулке начали, и все мимо. У меня инда волосы поднялись на голове. Держу чугунок с кашей, сам думаю: убьют или нет? Гляжу, а наш коммунист, Павлов Иван, бежит, — по голосу я его узнал, — и прямо на солдата, который на лошади. Треснул Павлов из ружья, лошадь на дыбы взвилась и как грохнется прямо на землю, и солдат около нее упал. А я через него бегом, бегом, и убежал из переулка. Бегал, бегал по чужим гумнам, и сам не знаю, куда больше бежать. Слышу, опять на улице стреляют, и чья-то изба загорелась. Гляжу хорошенько, будто не наша, а сам не верю: можа, наша? Сел я тут на гумно около соломы и давай плакать. Мне не избу жалко, наплевать — изба, пускай горит; мама вспомнилась: пымают ее солдаты, возьмут да застрелят нарочно, и останусь я без отца и без матери. Отец-то, может быть, и теперь бы жив был, если бы не записался в коммунисты. А он записался, поехал в город, дорогой его и убили казаки.

Сидел, сидел я на гумне около соломы, плакал, плакал, маленько полегче мне стало. Ноги начали зябнуть. Забыл я обуться дома, выбежал босиком, а тут дождик пошел накрапывать, сначала реденько, потом все сильнее. Зарылся я в солому, вспомнил, что у меня каши чугунок, и давай пальцем ковырять ее. Наелся, будто голодный, согнулся над соломой, думаю:

— Зачем я кашу ел?

Кругом омета тихо стало, не слыхать ничего, ровно ушли все с этого места, или в ушах у меня заглохло. Лежу, а сам все думаю, думаю, разные картины в голове проходят: тятю покойного вспомнил, как он коммунистом был, маму, как она двоих коммунистов на погребе прятала, и показалось мне, что я тоже коммунист, и если нападут казаки на меня, обязательно застрелят и разговаривать не станут. Подобрал я левую ногу, прислушался одним ухом, говорю себе:

— А где теперь мама? Чего с ней будет?

Лежал, лежал, и уснул невзначай, проспал до самого утра. Утром высунул голову из соломы, гляжу, а кругом туман

висит, не видать ничего. Стал глядеть хорошенько, а это не туман — дым густой, и село будто не наше стало — избов мало. Недалеко от меня около колосенки мужики сидят, бабы и ребятишки, и тут же зыбки повешены. Бабы плачут, мужики глядят молча. Подошел старик Пронюшкин с нашей улицы, увидал меня, говорит:

— Ты где, парень, бегаешь? Ведь изба-то у вас сгорела.

— Как сгорела? — спрашиваю я.

— Вот так и сгорела — половина села смахнуло в одну ночь. Казаки сожгли снарядами.

— А мама где?

— Мама твоя на пожарище там. Беги скорее туда...

Пришел я на то место, где стояла наша изба, а там одни головешки валяются, да труба печная торчит. На дороге убитая лошадь брюхом раздулась, и три человека вниз лицом лежат. Мимо прошел дядя Никифор с завязанной головой, и раненого красноармейца провезли на подводе. Мама моя тихонько плакала, сидя на чурбашке у сгоревших ворот. У меня тоже слезы показались на глазах, ну я все-таки не стал плакать. Встал на теплую золу, начал ноги греть, потому что вместе с избой и сапоги мои сгорели.

ЦАРСКАЯ ВСТРЕЧА

1

Старый литейщик Ефимыч говорил своей жене накануне:

— Завтра к царю пойдем. Иконы поднимем со знаменами, подойдем ко дворцу и скажем: „ваше императорское величество, батюшка, отец родной! Вот мы, дети твои, пришли к тебе на поклон. Рассуди нас своей царской милостью, повели чиновникам твоим правду соблюдать к рабочему народу. Правды нет в твоей царской земле, и народу всякое утесненье чинится. Народ-то, видишь, долго терпит, а может, и терпения у кого не хватит...“

Бубнил Ефимыч ласковым говорком, ласково щурил глаза под седыми бровями, и во всех его движениях, даже в легкой помолодевшей походке чувствовалась праздничная радость, брызжущая потоком теплых добрых слов.

Жизнь у Ефимыча прошла тяжело, в трудовой неволе. Еще мальчишкой глупышом втиснулся он в каменные стены завода, и не заметил, как выросло на плечах пятьдесят четыре года. Дни и ночи слились в одно, дни и ночи были налиты усталостью, бедностью, непрерывной работой, угарными вечерами в кабачках после получек, удушливым похмельем и — опять кабачки. Очень уж горько приходились иной раз, как покрепче подумаешь над своей жизнью: словно пес сторожевой стоишь на дозоре каждую минуту, копишь, оберегаешь хозяйское добро, а тебе за это грош да в спину коленкой под старость. Сколько народу погибло, которые посмелее были? Взовьются на дыбы против начальства утесняющего, а начальство сейчас в тюрьму да в ссылку лет на пятнадцать. Часто думал Ефимыч о сосланных и посаженных в тюрьмы, сердце переворачивалось при одной

мысли о них — зря страдают, но помочь нельзя ничем, и самого посадят на старости лет. Очень уж начальство у царя плохое. Сам-то царь хороший, как отец родной, а начальство у него неподходящее. Придут они к царю на доклад и рассказывают: — не беспокойтесь, ваше величество, народу вашему хорошо живется. — Рабочих вы не обижаете? — спросит царь. — Нет, ваше величество, рабочие много довольны вашей милостью...

Видишь, какие жулики. Царь их спрашивает по совести, а они ему голову мутят. Ну, где же царю самому поглядеть по всем городам и по всем заводам? Верит он начальству, потому что начальство присягу давало служить ему верой и правдой, а вот завтра обозначится совсем по-другому. Завтра весь Петербург, все фабрики и заводы подойдут к царскому дворцу, встанут на колени и скажут в один голос:

— Батюшка царь, нам тяжело!

Увидит царь с балкона литейщика Ефимыча, спросит:

— Ну, а тебе, старик, тоже тяжело?

— Тяжело, ваше величество.

— Сколько лет работаешь на заводе?

— Сорок первый год, ваше величество.

— Говори, чего надо от меня?

И тогда Ефимыч скажет:

— Батюшка царь, мне-то меньше всех надо, молодым устрой послабленье: рабочих часов убавь, жалованье прибавь, вели, чтобы о нужде своей тебе докладывали без всякой прижимки, помимо начальства, а начальство, которое неправду говорит, с должности уволь и поставь справедливое, чтобы о твоем народе заботилось.

Выслушает царь, подумает и скажет своим приближенным:

— А ведь он верно говорит — старик-то! Надо будет так и сделать...

Лежит Ефимыч накануне в своей каморке, не спится ему, с боку на бок переваливается, глядит в темноту отуманенными глазами, видит царя в золотой порфире и со скипетром в руке. Подходит царь к Ефимычу, говорит ласковым голосом:

— Спи, Ефимыч, не беспокойся, я так и устрою, как ты советуешь. Я покажу губернаторам и полицеймейстерам, как не выполнять мою царскую волю! Я ведь, Ефимыч, всегда

говорю всему начальству: „Берегите мой народ, заботьтесь о нем, не могу я один везде доглядеть“, ну, начальство у меня очень нечестное попалось. Вот завтра выслушаю все, что расскажут мне рабочие, и я подпишу своей царской рукой: отныне никогда никого не обижать!..

Подступило к сердцу Ефимыча сладкое волнующее чувство светлой неиспытанной радости, и две слезы повисли на седых ресницах.

— Господи!..

Вот он царь-то какой, если увидеть его своими глазами...

— Ты что, Ефимыч, не спишь? — спросила старуха.

— Как же я усну! — сказал Ефимыч. — Сейчас царя видел во сне, разговаривал с ним...

2

Утром Ефимыч поднялся раненько. В улицах городской окраины стояла морозная тишина, крыши домишек были покрыты мохнатым инеем, а вдали громадой каменной с колокольнями церквей угрюмо смотрел еще спящий город. Слава богу, дожил и старый литейщик до светлого праздника! Возьмет он сегодня икону спасителя и с ней, под ее покровом, пойдет к царскому дворцу доложить царю о нужде и тяжелой жизни рабочих. Может быть, и в лицо увидит царя, и царь в лицо увидит Ефимыча. Сразу поймут они друг друга, и слов не надо будет говорить...

Через час в слободке началось движение. Вышел токарь Аманаев, молодой рабочий, в праздничной шубе, ласково поздоровался:

— Здравствуй, Ефимыч! Пойдешь с нами?

Ефимыч рассмеялся:

— Неужто дома буду сидеть? Чай, такого праздника еще двести лет не дождешься.

Вернувшись в свою коморку, он надел синюю, самую лучшую рубаху, подпоясался новеньким пояском, расчесал бороду, перекрестился истово, с большой любовью и радостью:

— Господи благослови! Ну, старуха, ты сиди дома, я тебе потом расскажу, чего увижу. Тебя задавить могут, если пойдешь. Народу там будет — ой-ей-ей!

В церкви шла давка. Женщины и мужчины торопились захватить иконы, чтобы с иконами очутиться впереди процессии, быть поближе к царю, своими глазами увидеть родного отца... Ефимычу, как старому уважаемому человеку, все-таки удалось достать икону спасителя, и он, крепко прижав ее к левому плечу, без шапки, с завязанными ушами, встал в передние ряды. Кто-то запел „Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое“. Всех охватило волнение, всех пронизала горячая дрожь, чуточку поднялись волосы на головах от могучего пения в морозной тишине.

Шествие тронулось.

В него вливались новые группы с царскими портретами, с иконами, с музыкой.

Боже, царя храни!
Сильный, державный...

Море голосов, блеск икон в дорогих окладах, колыханье хоругвей, яркое солнце, светлые лица, воспаленные радостью глаза — все это волновало несказанно, давало подъем, веру, опьяняло, несло в огромном потоке...

Боже, царя храни!..

На глазах у Ефимыча стыли слезы, на усах от горячего дыханья повисли маленькие сосульки. Крепко прижимая спасителя, под его покровом шел он вперед твердым постукивающим шагом и в старческом умилении, в порыве преданности и любви, радостно шептал:

Боже, царя храни!
Многая лета...

Впереди показались войска, галопом пронеслись верховые. Ефимыч подумал:

— Без войсков нельзя — народу-то гляди сколько: передавить могут друг друга...

Улицы казались запруженными, забитыми человеческим мясом. Пели дома, пели колокольни церквей, пел весь город — пьяный, безумный в охватившем его порыве.

Женщина, шедшая рядом с Ефимычем, широко разевала рот, и в глазах у нее столько было молитвенного настроения,

что она казалась ослепшей от солнечного света; шла, подняв голову, ничего не видела, кроме царя, кроме царской одежды.

Спаси, господи, люди твоя!

Впереди блеснули штыки...

Кто-то далеко далеко, вскрикнул тонким голосом, где-то зашумела волна, двинула назад, покачнула шедших позади, но голос разом потонул в других голосах, а задние двинули передних, и опять живая волна покатилась вперед:

Боже, царя храни!

Впереди ударила пушка.

— Салют! Салют!

Пронеслись верховые на вспененных лошадях. Всхрапнули лошади, свистнули нагайки, запели, заиграли ружейные пули...

— А-а-ах!..

Раскололось шествие, опрокинулось, широкой волной хлестнуло в разные стороны. Молодой казак с русыми кудрями с разбегу ударил Ефимыча тяжелой плетью. Прорезала плеть старую щеку, брызнула щека старой кровью на белый снег. Обезумел Ефимыч, но еще крепче прижал икону спасителя ослабевшими руками. Оглянуться хотел, понять хотел, но толпа закрутила воронкой, смяла, подняла, бросила. Через иконы, через хоругви, через царские портреты бежали умопомраченные люди, зажимая головы, лица, ныряя в ворота домов. Некоторые лежали на снегу врастяжку. Сбоку от Ефимыча ползала какая-то женщина, царапала белый снег кровяными пальцами. Кто-то истерически плакал, кричал.

Обезумел Ефимыч — не поверил. Крепко прижимая икону спасителя, под ее покровом, один, с рассеченной щекой, с седыми волосами, перевязанный платком, двинулся он вперед.

— Братцы! Спаси, господи!.. За мной, идемте!..

Но кто-то совсем молоденький, безусый налетел на Ефимыча, взмахнул над головой у него чем-то светлым, тонким, режущим воздух, и старый литейщик, роняя икону, испуганно вскрикнул:

— Ай! Ай!

Потом все смешалось. Солнце стало черным, — небо черным, сверху падал черный грязный снег. Потом открылись огромные ворота, и в огромном дворе за этим воротами вся земля была залита кровью, в крови плавали иконы, хоругви, царские портреты, рассеченные головы, отрубленные руки-ноги. На балконе стоял сам царь в золотой царской порфире, окруженный губернаторами, полицеймейстерами, казаками, стражниками. Два губернатора держали пред царем огромную чашу, и все генералы, все губернаторы, губернаторские жены черпали из этой чаши красное вино большими гранеными стаканами, весело говорили:

— Урра! За здоровье вашего императорского величества!

— Все ли бунтовщики перебиты?

— Все.

— А это кто там швыряется?..

Увидали генералы с губернаторами старого литейщика Ефимыча, как он ползает на снегу посреди улицы, громко сказали:

— Добейте эту шкуру!..

Открыл глаза Ефимыч, увидел около себя молодого офицерика. Но это совсем не офицерик. Это сам царь в золотой порфире едет на белом коне. Наступил белый конь на грудь старому литейщику, хрустнула старая рабочая кость под царским конем.

— Будь ты проклят! — подумал Ефимыч. Поползал он на снегу, покружился, положил голову на чьи-то вытянутые ноги, вспомнил тюрьмы, переполненные молодыми, и — уснул навсегда, навеки, встреченный царскою милостью...

1919 — 1923

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Радушка

— Почему ты такая прекрасная?
— Потому что гляжу в глаза твои...
(Из Книги Ненаписанной)

В поздний час приходит она. У нее тонкие пальцы и ласковый голос. И еще у нее прозрачное платье. В поздний час моего раздумья тонкими пальцами берет она встревоженное сердце мое, ласково говорит:

— Милый!

Тонкими пальцами, с улыбкой на губах, разбивает все законы, все заповеди, охраняющие сердце, и я целую ей прозрачное платье. Хочу приблизить губы к ее губам, хочу подержать на руках, а она говорит:

— Не бери! Ты уронишь меня и опять разобьешь... Не целуй! Поцелуешь, и опять губы твои будут холодными. Я — короткая радость. Я — маленький ручеек, которого не хватит насытить жажду твою.

И я отвечаю ей:

— Да!

И она отвечает мне:

— Милый!

Мы сидим, и никто нас не видит. Говорим, и никто нас не слышит.

— Почему ты такая прекрасная? — спрашиваю я.

— Потому что гляжу в глаза твои, — отвечает она.

А утром поют колокола, веселятся воробьи на деревьях, машут голубыми рукавами облака, бегущие над городом.

Какие смешные уши мои днем! Какие смешные глаза! Это не колокола поют, не воробьи веселятся, и не облака над городом машут голубыми рукавами: это Радушка моя, Радость моя, Молодость моя, тонкими пальцами отгоняет старость мою, идущую позади. Я хожу по улицам большого города, и никто не видит Радушку, кроме меня, ибо на ней прозрачное платье...

Цветок

Бог создал землю.

Земля была похожа на голый череп.

Тогда бог сказал:

— Скучно будет человеку на голой земле, надо украсить ее.

Думая о радости человеческой, прикрыл бог голую землю голубым шатром: появились цветы.

Ходил человек между цветами и не мог познать глубину премудрого.

Тогда человек сказал богу:

— Зачем ты создал столько цветов? Их больше, чем дней моих, положенных от тебя. Ты премудрый, но я не постигну премудрости твоей, ибо она безгранична. Любовь твоя, как роса, разбрызгана по цветам, и я не успею собрать ее с каждой былинки, чтобы измерить глубину любви твоей. Сколько запахов не знают ноздри мои. Сколько линий не видят глаза мои. Собери всю красоту твою, всю премудрость твою в один цветок.

Думая о радости человеческой, бог создал ж е н щ и н у.

— Вот цветок, который ты хочешь. В нем разум мой, вся любовь моя и вечное стремление творить новую красоту. Радость рождения, радость страданья и тайна путей, по которым пойдешь ты во веки веков.

Усомнился человек — на цветке свернулся один лепесток.

Еще раз усомнился человек — на цветке свернулся второй лепесток.

Тогда бог сказал человеку:

— Чего ты ищешь?

— Я не вижу красоты сотворенного.

Тогда бог сказал:

— Ты ищешь глазами, а нужно искать сердцем в глубине сердца...

Поглядел человек в глубину сердца — и расцвел цветок всеми красками, всей красотой, радостью и любовью, и родилось в сердце у человека вечное стремление творить новую красоту для познания глубины премудрого...

Поэма о женщине

Красота, единственная в мире, радость, единственная в сердце! Нежная скрипка под нежным смычком, вечно душистое, вечно цветущее слово:

— Женщина!

Только семь букв, а какая музыка!

Вы не любите женщину?

Лжете!

Короли,
епископы,
строгие судьи,
бедные нищие,
согбенные монахи —

все идут по одной дороге, все приходят к источнику, дающему радость...

Грех?

Это бесстыдники выдумали.

Голодные — они низко кланяются, сытые — злобно плюют в ручей, освеживший им разум и сердце.

Солнце греет для всех, и река течет для всех. С кем сравнить несравненную?

Птица малая

Птица малая, ростом—зернышко пшенное, постучала нечаянно в сердце крылышком тоненьким, крылышком слабеньким:

— Пустишь меня, перелетную?

Посмотрело сердце на птицу малую, пером невиданную, улыбнулось:

— Что может сделать мне малая из малых?

Сказало сердце спокойно:

— Иди! Ты такая маленькая, такая нестрашная.

Засмеялась птица малая:

— Я нестрашная, только голодная! Никто никогда не кормил меня досыта, и никто никогда не накормит.

Расклевала птица малая сердце, ее приютившее, бросила расклеванное под ноги:

— Видишь? Теперь я огромная, ибо я съела огромное сердце...

Эта была любовь.

Отрывной календарь

1

Самое хорошее слово—желание. Длинное оно—его не измеришь. Тягучее оно — не соберешь в комок. Ветер невидимый в нем. Дует ветер — наклоняются деревья: молодые, старые.

Я никого не любил, кроме женщины. Не было у меня ни разума, ни предрассудка. И в мире ничего не было: ни греха, ни измены. Только желание насытить ненасыщенное.

Яблоки не стыдятся, когда наливаются.

И виноград не стыдится, когда опьяняет.

Меня несет ветер.

Сколько цветочных чашечек на пути, по которому несет меня ветер?

Этого я не знаю.

2

Голубь-самец уговаривает самку. Ходит боком вокруг, страстно прижимается. Голос — ласковый шопот. Голос — несдержанный гнев.

А она недоступная. Смотрит прищуренным глазом.

Ну, вот.

До свиданья!

Летит голубь за голубкой, и сам не знает куда. Долго будет лететь. До тех пор будет лететь смешной, пока не захочет сама опьяниться весенним вином.

Ах, любовь!

3

Протяжно кричат две вороны на черной обтаявшей дороге. Дымок над озером. Тонкие кости белеют под грязным налетом. Череп обглоданный. Пара глазниц.

Вот и весь человек.

Вороны поднимаются, медленно машут крыльями. Гудит телеграфная проволока.

Разве я знаю, зачем нужно это?

4

За изгородью артиллерийские повозки кверху колесами. Пушечные передки. Часовой втыкает винтовку штыком, легонько поет:

Заходит милый в залу,
Смеется ей в лицо.

Скоро просохнут долины, голубой водой нальется воздух за городом. Вылезет первая зелень. Кто-нибудь приведет козу на веревочке, ляжет на спину, будет смотреть, слушать.

Заходит милый в залу,
Смеется ей в лицо.

Это тоже нужно.

5

В узком закрайке рябит нефтяная вода. Виснут пряди волос, расчесанные весенними гребешками. Ручеек с камешка на камешек прыгает. Тащит скорлупку, брошенную в лицо, роняет слезы.

Не хочу быть ручейком.

Сердце мое хочет радоваться.

Я думаю о любви.

6

Молодая, здоровая, сильная. Тонкие губы отравлены ядом. Берет мою волю, мои мысли, уводит березовой аллеей.

Это Елена.

Распускаются первые листья.

Иду.

Хорошо итти безвольному, недумающему. Прыгает воробей, пружинный комочек.

Озеро.

Маленькое озеро, покрытое упавшими листьями.

Это все ветер виноват.

Елена слегка наклоняется.

— Пощупай, какие холодные руки!

Милый майский ветер над озером! Это ты расстегнул голубую помятую кофточку. Это ты закружил первые листья.

Пью.

На губах моих сладость грудей. На глазах голубая повязка. Пью весеннее, лесное, зеленое.

Вот и все.

Вот и любовь.

7

Окаянный я.

Пьяный целовал Еленины ноги, яблоками душистыми клал в рот упругие груди.

Лгу.

На глазах голубая повязка была. Видел тело — не видел стыда. Видел обнаженную — не видел наготы. Молодое прекрасное тело я видел. Ему молюсь, коленопреклоненный.

— Не верь клевете разума моего!

— Не верь клевете раскаяния моего!

— Приду.

8

Вот что говорила Елена:

— Между нами ничего не было.

Странно-неподвижная, с черной остриженной головой на белой подушке, крепко затягивается она папироской. Неживая, нечувствующая.

— Ты зачем пришел ко мне?

— Посидеть.

Надевает мне шляпу с упреком:

— Я не колодец, из которого можно пить до пресыщенья.

— Раскаиваешься?

Брови ее переламываются.

— Яблоки не раскаиваются, когда падают с ветки.

Милая Елена!

9

Удивленный месяц рассматривает удивленного. Над головой почерневшее небо, под ногами почерневшая тень.

Это — я.

Дождь накрапывает, месяц уходит, а я стою у окна Елениной комнаты с отдернутой занавеской. Вижу плечи приподнятые. Светлая от мыслей, светлая от лампы, перелистывает она книгу. Холодная, бестелесная.

Стукаю в раму обиженным пальцем.

Елена в окно отвечает:

— Милостыни я не подаю.

Милая Елена!

10

В спальной привернута лампа. Надежда плачет. Плечи голые, кожа морщинками. Уверяет, что я разлюбил. Разве я знаю, какая любовь? Была к женщине и теперь есть.

— Не плачь!

— Не любишь ты.

Да. Сегодня я не люблю Надежду, думаю о Елене. Надежда не хочет, чтобы я думал о Елене, а я думаю.

И сам я не хочу думать о Елене, думает другой за меня.

Почему Надежда не вычерпала желанья мои? Почему не опорожнила сердце?

Она не виновата.

И Елена не виновата.

Я знаю.

Виновата женщина тысячью прекрасных глаз.

Виновата женщина тысячью прекрасных ног.

Надо убить ее.

Пусть зовет ручей освежающий — буду пить из одного колодца. Пусть горят глаза волнующие — буду смотреть в глаза негреющие. Не пьянит вода из кувшина — буду пить до конца. Пить буду и тихонько плеваться.

Поле голое!

Цветы растоптанные!

Это я убил женщину.

11

Вот что говорила Елена во второй раз:

— Я не хочу любовника для себя. Не ищу и хозяина над собой. Нужен был ты мне — взяла тебя, какой ты есть. И опять возьму, какой ты есть. Бери и меня, какая есть. Кого вчера целовали губы твои — я не спрашиваю. И ты не спрашивай, кого будут целовать губы мои завтра. Разве ты хочешь королем моим быть?

— Нет.

— Разве ты хочешь султаном моим быть?

— Нет.

Милая Елена!

12

Когда мучит жажда — вода делается прозрачной. Когда мучит голод — хлеб становится душистым.

Зачем прятать желанья свои?

Это мужья по ночам приходят к женам.

Это жены, запертые в комнатах, не смеют противиться.

Мне не стыдно целовать Елену — я люблю днем.

Мне не стыдно видеть обнаженную — я вижу только прекрасное.

И губы мои целуют только прекрасное.

А вы, не признающие радости моей, приготовьте камень, чтобы ударить согрешившего перед вами.

13

Нет у меня ни жены, ни любовницы, ни узенькой клетки с двухспальной кроватью.

14

Женщина!
Я никогда не изменял тебе.
Никогда не грешил перед тобой.
И ты никогда не грешила передо мной.
Гляди на меня тысячью прекрасных глаз.
Наполняй сердце мое тысячью желаний.
Не отталкивай поздно пришедшего.
Не держи уходящего.
Выслушай радость мою.
Я не сплю около тебя с разинутым ртом.
Не дышу и в лицо тебе гнилью немытых зубов.
Ты невеста моя, неизменно юная.
Я жених твой, неизменно радостный.
Когда иду к тебе, надеваю лучшие одежды.
Когда прихожу к тебе, говорю лучшие слова.
Благословенны родники, освежающие сердце!
Благословенны ноги, встречающие жаждущих!
Я люблю женщину.

Счастье

Захотелось человеку счастья — купил граммофон. Попалась двухспальная кровать, и ее купил: в дому появились клопы. Расстроился человек, купил супоросую свинью.

— Вот кто меня осчастливит!

Свинья обманула: троих поросят задавила, троих слопала.

Охнул человек, завел граммофон.

— Хоть ты порадуй!

В граммофоне захрюкали погибшие поросята.

Захворал человек. Лег на двухспальную кровать — клопы окружили. К вечеру начал стонать, а вечером —

— Тихо скончался...

Любовь

На лугах росли цветы: желтые, белые, голубые, лиловые. Над цветами летали мотыльки: молодые да веселые. Посидят на одном, на другой пересядут. Так и летали. Сел однажды мотылек на голубенькую незабудку, засиделся немножечко лишнего. Вот она и говорит ему:

— Милый мой, будь моим!

— Пусти! — сказал мотылек. — Мне хочется вон к этой ромашке.

— Нет! — сказала незабудка. — Ты мой. Я буду любить тебя до тех пор, пока не умрем. А если ты умрешь раньше, буду любить тебя мертвого.

Это была очень сильная любовь, но мотылек испугался — и умер от скуки.

Горе

Выросла у девушки коса, русая, золотистая. Смотрела девушка на свою косу, радовалась:

— Какая хорошая!

И люди говорили про девушкину косу:

— Какая хорошая!

Но, вместе с косой, выросло девичье горе: увидел мужчина русую косу, стал поить девушку хмельным напитком:

— Ты лучше всех!

— Ты прекраснее всех!

Пила девушка и не могла напиться. Пила и опьянела. Расплела русую косу, покрыла ею возлюбленного, продержала до самой зари. Поцеловал мужчина на заре дрогнувшие пальцы у девушки, пошел отыскивать другую косу — нерасплетенную.

Подошла девушка к зеркалу и увидела в нем девичье горе. Сама девушка была маленькая, а горе большое. Стала она плакать. Думала девушка:

— Выплачется горе — меньше будет.

А горе от слез все больше да больше. Совсем задавило девушку. Тогда девушка сказала:

— Умру. Радости нет.

Посмотрела на вешнее солнышко в последний раз, — улыбнулась.

Тут горе и выпало из глаз у нее.

Человек без одежды

Когда ему исполнилось девятнадцать лет, он, увидя девушку, воскликнул:

— Поздравь меня: мне исполнилось девятнадцать лет!

Девушка удивилась:

— Какое мне дело?

— Как? Ты не знаешь? Ведь мне исполнилось девятнадцать лет. Я молодой, здоровый, сильный. И ты молодая, здоровая, сильная. Ты — колодец в степи, я — странник, жаждущий твоих родников.

Девушка отвернулась.

Человек без одежды стоял пораженный.

— Послушай! Но кто будет пить воду твоих родников? Верблюд?

Девушка не ответила.

Пошел человек к реке и, увидя женщину обнаженную, восторженно крикнул:

— О, лоза виноградная! Гроздья ягод твоих налиты соком, и ты поджидаешь садовника. Хочешь, чтоб сердце мое опьянилось?

Глаза женщины, говорящие правду, ответили:

— Пей!

А язык, научившийся лгать, прошептал:

— Я поджидаю другого...

Человек без одежды сказал:

— Напой меня первого, я уступлю место другому.

Тогда женщина сказала:

— Ты, верно, не из нашей страны? Юноши наши обнажаются только ночью под душным шатром одеяла, ты же приходишь ко мне обнаженный при солнечном свете... Разве не знаешь, что стыдно показывать тело?

От досады человек без одежды воскликнул:

— Отец, я не знаю тебя! Но зачем ты дал мне скверное тело, которое стыдно показывать? Дал бы тело душистого ландыша, чтобы женщины нежно к устам прижимали его.

Женщина была очарована музыкой слов пришедшего в страну скрывающих желанья свои при солнечном свете. Сняла она одежды лицемерия своего, повела юношу на брачное ложе:

— Ты первый из первых! Да будет вовеки...

Чертенок

Полюбил я женщину. Выбрал лучшую из лучших — цветок, омытый утренней росой, склонил перед ней охмелевшую голову. Когда заглянул в глаза — отскочил: в них, как колос зерном, наливалось желанье отдаться другому. Она говорила нежно:

— Милый мой!

Про себя думала:

— Ты мне надоел.

Я нарочно собрал слова, сказанные ею в порыве нежности. Когда остался один, начал рассматривать их. Первые два слова „милый мой“ оказались совершенно пустыми. В словах „люблю тебя“ лежала маленькая, едва заметная скука. После я узнал: чем чаще повторять эти слова, скука делается все больше и больше.

— Любовь вечна...

Это очень хорошие слова. В них сидел таракан с длинными усами, шевелил ими, как стрелками на часах. Я спросил, что он делает, таракан ответил:

— Измеряю вечность любви.

— Сколько лет она продолжается?

— По-разному у всех. С обманом если — сто лет тянется, без обману — сто секунд.

Вечером я отправился к девушке. Сердце ее приоткрылось неохотно, повела она меня по нему темными косыми переулками. В темноте я заметил следы чьих-то ног и приторный запах оставленной лжи. На одном из поворотов увидел маленькое пятнышко от любовной тоски. Когда стал рассматривать внимательнее, это было не пятнышко, а маленькое туалетное зеркало. В нем я увидел краешек своего носа.

— Бедная девушка, она думала обо мне.

Вслед за моим носом показались великолепные усы кавалерийского полковника, черные усики подпоручика, всклокоченная голова художника, небольшая лысинка профессора математики, надушенный пробор учителя танцев, голубые глаза скучающего поэта, бритые губы актера, розовые щеки оперного баритона и трико полосатое циркового клоуна.

— Милая, как хорошо в твоем сердце, уютно!

Девушка провела меня в дальний уголок.

— Отдохни. Этот уголок будет твой.

— Здесь никого нет из посторонних?

— Нет, ты единственный.

— Как я счастлив! Я не люблю, когда сердце похоже на бакалейную лавочку, в которую заходят прямо с улицы.

Рядом, в другом уголке, кто-то отчетливо проговорил:

— Ду-рак.

Я притворился, взял девушку за руку.

— Скажи, моя любимая. Когда я шел сюда переулками твоего сердца, видел следы приходящих к тебе и следы уходящих от тебя.

Девушка закрыла мне рот поцелуем.

— Глупый, показалось тебе. Это твои следы. Не нужно быть таким подозрительным.

На прощанье дала мне маленький сверток, перевязанный розовой ленточкой.

— Возьми. Это любовь моя. Сердце ли твое заболит, глаза ли слезой отуманятся — чаще гляди на подарок под розовой ленточкой: радость большая в нем сердцу усталому.

Развернул я таинственный сверток, с хохотом выбросил смятый окурок, захватанный пальцами рук приходящих к ней в сердце темными косыми переулками.

Бродячий поэт

Зашел к писателю бродячий поэт. Достал двенадцать томов собственного сочинения писателя, уселся на них, как на скамейке. Шляпу слегка запрокинул:

— Как поживаешь, дружище?

Писатель обиделся:

— Пересядь на другое место!

— Не беспокойся, мне очень удобно сидеть на твоих сочинениях. Слушай, я прочту тебе парочку новых стихов.

— Я не особенно люблю стихи.

— Любить не заставляю. Я тоже не очень люблю твои повести с рассказами, но сижу на них с удовольствием. И ты бы с удовольствием посидел на полном собрании моих песен, да я не такой дурак, чтобы делать из песен скамейки для публики...

— Ты к чему это?

— Как к чему? Я читаю тебе стихотворение в прозе...

Писатель покачал головой.

— А, правда, вы, поэты, бываете сумасшедшими! Ну, в чем красота твоих песен? Даже рифмы не видно. Совершенно не понимаю, чего ты хочешь.

— Спасибо, дружище, ничего не хочу! Это ты хочешь заставить меня вязать шерстяные чулки, чтобы после снести по нужде в бакалейную лавочку. А меня не затащишь на книжные полки: слишком дорого стоит лежанье на них.

Прежде чем получить удовольствие спячки и быть безопасным сиденьем для мух, из меня выжмут кровь, превратят мои песни в расчетные знаки...

— А это к чему?

— Это я читаю тебе второе стихотворение в прозе.

Долго был в одиноком раздумьи писатель. А когда заглянул в свои книги — упал, пораженный виденьем: между строчек сидел старичишка с отвислой губой и дрожащими пальцами перелистывал пачку стихов за подписью двух гениальных поэтов:

— Комиссара финансов и кассира.

Свинья и небо

Давно хотелось свинье посмотреть на небо — нос поднять не могла. Слышать — слышала:

— Есть такое, и очень огромное!

Глядит в лужу, а в ней — это самое небо, как блюдо эмалированное. Захрюкала свинья:

— Ну, и небо! Говорили — огромное, сразу неправда.

Растянулась посреди лужи, торжествует:

— Одним боком все ваше небо закрою! Где оно?

Жук, получивший свободу

Полдень. В комнату ко мне залетает жук, трубит аэропланом. В комнате четыре стены, очень мало света, — жука позывает назад. Долго ищет выхода между простенками. Ослепленный солнцем из окна, теряет дорогу и с полного полета ударяется головой в стекло... Бьет по стеклу твердыми блестящими крыльями, выходит из последних сил. Измученный, садится на раму.

Солнышко манит.

Стекло держит.

Жук в отчаянии.

Я смотрю на него.

— Глупый жук! Неужели не догадаешься? Возьми немного пониже, и ты будешь на свободе.

Но солнце особенно ярко играет в верхнем стекле: никак не может жук оторваться от верхнего стекла.

Битва продолжается долго.

Близко солнышко, зовет, смеется, а силы у жука все меньше да меньше.

Я с силой хватаю его в горсть, выбрасываю из окна. Жук грохается на землю и лежит, точно мертвый. Через минуту поднимается выше яблони под окном, расправляет помятые крылья, торжественно гудит мухам внизу:

— Сво-бо-о-да!

Воробей

Спросил человек муравья:

— Доволен ты своей жизнью?

— Доволен.

— Ну, ползай, если доволен. Наступит кто сапогом — не жалуйся.

Услыхал воробей, говорит:

— Я не доволен своей жизнью!

— Почему?

— Потому что я — воробей: хочу быть ястребом.

Ястреб тоже был не доволен своей жизнью.

Воробей испугался.

— Не хочу быть ястребом, — соколом сделай меня.

Сокол перевязывал крылья. Услыхал, смеется:

— Сделай, человек, воробья соколом! За воробьем гоняется одна кошка, за соколом—тысяча охотников...

Еще больше испугался воробей. Сел в коноплянник, сидит.

Сокол смеется:

— Где тебе, трусишка!

Так и остался воробей воробьем. Захотел попробовать — смелости не хватило...

Аннушка

Вечером Пилюгин молится богу:

— Не введи нас во искушение!

На кровати Аннушка сноха, сидит, оттопыривает ворот у рубашки, смотрит за пазуху. Там, как яблоки на яблоне, висят упругие груди с темными курносыми сосками.

После молитвы Пилюгин лежит на печи, выставив бороду. Ему шестьдесят четыре года, но пелена, сотканная старостью, рвется, по телу пробегают короткие, обжигающие искры. Обнимают его белые Аннушкины руки, дышать старику не под силу.

Одиноко стоят позабытые свечи, иконы, лампады, грехи и кладбище. Все заслонила безбожная Аннушка. Лезет под дерюжку она, дразнит губами, улыбкой, всем телом своим под длинной рубахой:

— Гляди!

Раскрывает глаза старику под дрожащими веками, щекочет, мучит.

— Гляди!

Прыгает с печи Пилюгин, бежит прямо в сени. Пляшет, трясет бородой на морозе, читает молитвы.

Утром Аннушка будит к заутрене:

-- Тятенька, вставай!

Пилюгин лежит неподвижно.

— Тятенька, звонят!

Вскакивает он, хватает Аннушку за руку повыше локтя, бормочет:

— А? Что? Кто?

Утреня старая, длинная. На высоких подсвечниках в белых коленкоровых рубахах горят лампады, теплятся свечи. В носу щекочет кадильный дымок. Поют, читают, а сердце не слушает. Сердце не видит. Перед глазами — безбожная Аннушка.

— Грех, соблазн! — думает Пилюгин. — Не введи нас во искушение...

А грех бессовестный смотрит в глаза старику, тихо смеется:

— Гляди!

К обедне Пилюгин нейдет. Ложится на Аннушкину постель, одевается Аннушкиным одеялом, мысленно обнимает Аннушку горячими, помолодевшими руками. Раскрывается светлая бездна. Лезет старуха из могилы, становится сын поперек дороги, но Пилюгин опрокидывает их. Гасит свечи с лампадами, зажигает другие огни, видит только Аннушку — молодую, безбожную. В ней —

солнце и
воздух,
земля и
небо,

и желание прожить еще шестьдесят четыре года...

Поэту

Если хвалят тебя девяносто из сотни — уйди. Если скажет вся сотня восторженно:

— О-о-о! —

поступи подмастерьем к сапожнику: ты не поэт.

Если ж сотня озлобленных крикнет в лицо:

— Еретик! Сумасшедший! —

улыбнись: читать тебя будут сто первые.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Другу-жене посвящаю

1

Мне семнадцать лет.

Еще год, много — два, и меня женят. Еще через год появятся дети... Лет через десять я уже не узнаю самого себя, обросшего бородой, и буду похож на отца, которому теперь 43 года. Так же буду двигать ногами и беспокойно томиться на печке, перекатываясь с места на место...

Стоит август месяц.

Мы с отцом возим ржаные снопы на двух лошадях. После возки начнем молотить, если выстоится хорошая погода. У отца больше горячки, чем у меня. По утрам он просыпается рано, еще до рассвета, чтобы увеличить и без того длинные дни, и, подходя ко мне, дергает меня за ногу:

— Слышишь, Лексей? Вставай!

В поле мы едем рысью, сидя на разных телегах, из поля возвращаемся шагом. Лошади идут согнувшись, потряхивая головами. Нагруженные хлебом телеги легонько скрипят и покачиваются.

Настроенье у отца хорошее.

Он доволен и тем, что поднялся пораньше других, и тем, что стоит такая чудесная погода, не мешающая работать ему.

Ему хочется разбогатеть...

Мысль о богатстве — это старая, давнишняя мечта, но богатство его не растет... Как только я начал помнить себя, я вижу все ту же избенку, по зимам в которой вместе с нами толкутся ягнята. Все тот же худой провалившийся двор и пару голодных коней с отвислыми ртами. Сначала я видел гнедых с длинными перепутанными гривами, потом появились сивые...

Одну сивую отец променял на буланую. Буланая оказалась больной. Отец снова променял ее уже на чалую. Чалая пришлась не ко двору и жила недолго: околела. Теперь у отца попрежнему пара гнедых. Но чтобы, вместо двух, на дворе у него очутилось четыре, — до этого ему не дожить. Он уже идет под гору и заметно слабеет. На левом виске у него среди черных волос появились седые...

Мы шагаем с ним рядом.

Шаги у него мелкие, воробьиные, я ступаю широко и уверенно. Я уже большой, взрослый, выше его на целую голову и чувствую в себе молодую нерастраченную силу. Отец идет молча, сшибая головки цветов, и неожиданно говорит:

— А все-таки плохой ты работник, Лексей!.. Нерачительный...

Примета знакомая.

Если отец говорит о моей непригодности, значит ему хочется помечтать, и он продолжает как будто бы с легким упреком:

— Когда мне было 17 лет, я работал, не как ты... Ты совсем не видишь дела, которое глядит на тебя, но ты ведь не маленький... Вон какой!..

А через минуту нерешительно добавляет:

— Женить тебя надо... Хвост привязать...

Потом переходит на лошадей.

Сытые крутозадые лошади в ременной начищенной сбруе, под тяжелыми дугами, это — его излюбленный разговор, его больное место, которое он охотно показывает мне... Как бы то ни было, но ему все еще хочется разбогатеть: к двум лошадям прикупить третью и выстроить новую избу. А так как одному ему не управиться с этой задачей, то и все свои надежды он возлагает на меня, на мои молодые, здоровые плечи... Ему хочется и меня заразить погоней за новой избой, в которую так трудно попасть; хочется, чтобы и я безудержно кружился на старой дороге... и он медленно разворачивает передо мной свое будущее. А будущее у него, как короб, подвешенный за плечами, и когда он, увлекаясь, открывает этот короб и легонько трясет, перед глазами у него скачет хорошая жизнь на хороших лошадях. Он прыгает, хорохорится точно воробей на рассыпанных зернах, и, причмокивая, говорит:

— Нда, де-лишки!..

2

На гумне мы доваживаем вторую копну.

В двух копнах — все наше богатство, весь пот, пролитый за серпом и за плугом. Больше надеяться не на что. Мы с отцом не ремесленники и другими путями копейку загнать не умеем. Нищие — мы, чернорабочие, вылепленные из грубой непромешанной глины, и вся наша жизнь проросла недостатками, платежами, повинностями... Вся она окружена большеротой нуждой, стерегущей нас справа и слева, и маленькое трудовое хозяйство не радует... Хлеб, собранный по зернышку, снова придется растаскивать на несколько кучек, и нам с отцом, проработавшим целое лето, достанется самая малая...

Я стою на телеге с вилами в руках и, обливаясь потом, с трудом и досадой кидаю снопы... Во рту у меня сухо и горько. Пыльный соленый пот выедает глаза.

Отец на копне.

Маленький, да еще утонувший в снопах, он не похож на взрослого человека. Иногда пропадает совсем, как будто бы тонет на самое дно, а выныривая, показывает серую размочаленную бороду, набитую колосом. С копны он слезает задом наперед, больно царапает голый живот, но боли не чувствует. Обтерпелся. Отряхиваясь, он стоит передо мной маленький, смешной, на босых раскоряченных ногах, и в его добродушных попорченных глазах не трудно прочесть все мысли и замыслы... Просвечивает радость, под усами играет улыбка. Он очень доволен, что докладывает вторую копну, и мысленно уже обмолотил их, вымерил, свесил и ходит с деньгами... Богатый!

— Пудов на 80 будет! — показывает он глазами на копну.— Не меньше...

И оттого, что копна с хлебом вытянет пудов на 80, он даже не сердится, когда я задеваю телегой в гуменных воротах. Только ворчит по привычке:

— А ты потише... Медведь!..

И хватаясь за телегу, в то же время хватается и за сползающие с заду штанишки:

— Эдак колесо свернешь...

В полдень мать кормит нас постным. Баранины нет. Отец не наедается, но сыт подступившими к горлу заботами... Откладывая ложку, он по-воробьиному собирает упавшие крошки, крякает, пожимается, но не сердится, не пугает глазами, которых никто не боится... А вылезая из-за стола, наскоро кланяется в угол, где чернеют иконы. Там — источник, и отец из этого источника черпает силы... В мелких торопливых крестах у него чувствуется все еще не погасшая вера. Зимой он кланяется ниже, обдуманнее, крестится шире, но это—зимой, от безделья... А теперь — лето, горячка, и господь, наверное, не осудит человека, у которого мысли текут и туда и сюда...

После обеда он опять на дворе.

Бегает, торопится, заглядывает по углам и старательно тешет чекушку. Мурлычет... Как будто поет... Потом нечаянно задевает по пальцу, морщится, дует на ранку, бросая топор, и по-кошачьи зализывает ее языком.

Я не вижу дела, которое глядит на меня, и оттого, что я стою без дела, отец, раздражаясь, кричит:

— Шевелись, Лексей!.. шевелись!.. Хватайся обеими руками!..

У колоды стоит пара таких же голодных, несытых коней, хлебающих чуть-чуть побеленную воду.

Я завожу их в оглобли, похлопывая по спине, а через несколько минут мы снова гоним в дальнее поле.

Отец сидит на передней телеге, без шапки, с поднятым кнутовищем в руке, и, подпрыгивая, мотаясь на кочках, кажется немного подвыпившим... На душе у него неспокойно... Отыскивая солнце, ушедшее с полден, он сердится, кипятится и дергает гнедого, догоняя уходящие летние дни.

Пыльные нерасчесанные волосы у него торчат сосульками; вместо бороды примазан свалявшийся клок. Непромытые помутившиеся глаза замучены летними бессонными ночами; он совсем не отдыхает, а если и спит иногда, то по-заячьи: с приподнятым ухом... Весь он исцарапан, изодран, исколот, и все-таки это не в состоянии остановить его. Он похож на ошалевшую гончую, которая, ничего не видя, гонится за утекающим зайцем... Ее уж не держат ни кочки, ни ямы... Она кувыркается, мечется из стороны в сторону и, замученная, возвращается с заячьей шерстью в зубах...

Отец тоже ловит какого-то зайца и не может поймать. Мучится, задыхается и, кроме себя, мучит еще и нас с матерью. А когда я останавливаюсь, чтобы подумать над тем, что творится, он раздраженно кричит:

— Не стой, Лексей!.. Не стой!.. Пожалуста не стой...

В последний раз мы дорываем картофель.

Утром еще по-летнему светит солнце. Чувствуется крепкая подбадривающая свежесть, но в полдень наливаются быстрорастущие тучки. Ясное небо становится темным, широкое поле обуживается, стынет, чернеет. Парами и в одиночку выскакивают из жнивья полевые зобастые голуби и, опрокидываясь, поблескивая белой изнанкой расправленных крыльев, убегают поближе к деревне. Тревожно кричит ворона на выеденном межнике. Бежит, кувыркается кустик полыни, подхваченный ветром.

Это уж осень.

Домой мы возвращаемся с синими прозябшими губами и долго сушимся на печке, сбитые в кучу. В семье нас пять человек. Кроме меня, старшего, есть еще двое: сестра, девчонка, 12 лет, и братишка „подскребыш". Нам тесно на маленькой печке, и мы пожимаем друг друга, как зайцы, застигнутые водопольем. Мать сидит в углу с мокрыми распущенными волосами и чешет их гребнем, звонко постукивая ногтем. Она без кофты, босая, растрепанная и похожа на нищенку, выставляя из-под юбки дряблые подтянутые икры... Отец, выгнув ноги, лежит по-хозяйски, занимая пол-печки. Ему преимущество. Мы трое сидим с кусочками в руках, а в окно со двора на нас смотрит хмурая холодная непогодь. Хлещет крупный настойчивый дождь...

Это — осень...

Смотреть на нее без привычки досадно и тошно. Падает снег крупными тающими хлопьями. На залитых дворьях тревожно ревет скотина. Долго и протяжно воют собаки. Плачут, дерутся ребята по избам. Скулят, огрызаются свиньи. С сердцем переругиваются мужики, вымазанные грязью. И в этой тесноте, в этой слякоти, словно в мешке, перевязанном крепкими нитками, барахтаясь, возятся, плачут, скулят и царапаются люди и лошади, свиньи и собаки, прижатые холодом...

3

С осени у отца появляются болезни.

Он то жалуется на поясницу, то на ноги, в которые будто стреляет. Иногда, заворотив рубашку, лежит на печи вниз животом. Его позывает на чай, на рыбу, на свежую капусту, на соленые огурцы. Как раз на то, чего у него нет. И от досады, что ничего у него нет, он лежит, как настоящий больной, не поднимая головы. Охает. А по временам загибает пальцы на левой руке. Загибает и что-то высчитывает. Он уже не летний с играющей улыбкой, не тот, каким был, когда выкладывал копны. Летние надежды, кружившие голову, ушли, обманули. Летняя радость потухла. Подступившая осень вместе с холодом ведет за собой недоимки, повинности, тащит старую надоевшую нужду с огромным разинутым ртом, — и сердце у отца сжимается страхом и болью... Изредка он заходит в амбар, где ссыпано обмолоченное зерно, и подолгу стоит над сусеками. Иногда пройдется по двору, как барский приказчик, ни до чего не дотрогиваясь, посердится на лошадей, на мои недоглядки и — снова уходит на печку...

В полдень к нему заходит дядя Налим, маленький бородатый мужик, и, раскладывая кисет на коленях у себя, садится на приступок около умывальника. Отец, свесив ноги, сидит на печи, точно помятый, с растрепанной головой, и выкладывает свои недостатки. Дядя Налим слушает. Крепко затягивается окурком, обжигающим пальцы, и по обыкновению глядит себе под ноги. Щеки у него раздуваются, глаза полузакрыты, и если посмотреть на его мохнатое, заросшее волосами лицо с парой морщинок на лбу, — не поймешь: сердится он или смеется над чем, выпуская дымок...

Говорит он с длинными паузами и не так, как говорят другие, а какими-то намеками, загадками, пословицами и разными загагулинами. И когда отец, свесив ноги, выкладывает свои недостатки, дядя Налим говорит ему, покачивая головой:

— Кто про что, а вшивый про баню... Не надоело?

— Ты не загибай! — сердится отец. — Знаю я, куда ты повертываешь. Ну, только все равно нельзя по-твоему... Не нашим ртом...

— Конешно, — посмеивается дядя Налим, — привыкли мы нашим-то ртом мух ловить, и то хорошо...

Он говорит спокойно, медленно, точно на весы кладет, а отец сердится. Приготовит несколько слов, свяжет, расставит, чтобы вышло получше, но все это вдруг рассыплется, разлетится, и, вместо разговора, отец усиленно сучит руками, трясет бородой...

Дядя Налим — другой человек.

В нерасчесанной голове у него положено что-то такое, чего нет в отцовской, и я смотрю на маленького бородатого мужика с большим любопытством.

— Дураки мы! — замахивается он на отца новой загадкой, — ждем, когда вырастет куст с малиной... Думаем, горох посыплется сверху... А кобыла-то наша ни с места... Понятно?

— Это мне давно понятно! — отвечает отец.

— Ну, так и не скули...

— А чего же надо?

Прежде чем ответить, дядя Налим озирается — нет ли кого посторонних в избе, и, как будто бы в шутку, говорит, подмигивая мне прищуренным глазом:

— Шебутиться надо... Раскачиваться...

— Шебутить-ся?

— Да, да!.. Дырочку вертеть...

В избе тишина.

Отец и морщится, и улыбается. Мать сидит на лавке за гребнем, подобрав обиженные губы. В руках у нее быстро вертится тонкое поющее веретено. Рядом с ней — тоже за гребнем — работает сестра-девчонка. Тонкие веретена в руках у них будут петь вот так целые осень и зиму... И они, мать с дочерью, целые осень и зиму будут плевать себе на руки, скручивая нитки, и все-таки одеваться нам с отцом придется в рваные штаны и рубахи... Так уж устроена наша жизнь. В одну дыру мы сыплем, кладем, наливаем, а в другую падает и льется обратно...

Я смотрю на мать, на отца, безмолвно погибающих в этой жизни, из которой их вытащит смерть, и на дядю Налима, который предлагает раскачиваться. Собираю дядины намеки с загадками и укладываю у себя в голове. Мне кажется, что

дядя знает больше, чем отец, и его желание „шебутиться" незаметно переходит в меня. Я чувствую, что голодная отцовская жизнь подомнет и меня, если я вот так же, как и он, буду сидеть над ней, уронив отупевшую голову. Но погибать мне не хочется. Хочется выпрямиться, размахнуться, попробовать силу и сделать такое, чтобы вся эта жизнь с теснотой и обидой вдруг рассмеялась и заговорила другим языком...

Уходя, дядя Налим говорит мне:

— Гляди вот, Лексей... забирай!..

Под лавкой у меня — некрашеный сундучок. В нем лежат книги: толстые и тоненькие, понятные и мало понятные... Целый волнующий мир! Это уж мое богатство, собранное и натасканное в разное время. Я становлюсь перед сундучком на колени, как перед источником в жаркий полдень, и черпаю из него подкрепленье... На поднятых развернутых страницах проходят передо мной другие люди, слышатся другие голоса — и сердце мое там... А новые другие люди, с которыми я тихонько беседую, так же, как и дядя Налим, говорят мне:

— Шебутиться надо!..

Я еще молод. Я не знаю, как надо шебутиться, чтобы выпрыгнуть из старого отцовского лукошка, но иногда мне хочется просто уйти... Взять палку потверже, перекинуть сумочку через плечо и—уйти... Я стою около сундучка ослепленный, взволнованный и, склоняясь над книгой, ищу в ней и поддержки и тайного ободренья...

Но долго беседовать с книгой нельзя.

Этого отец не выносит...

И когда я, семнадцатилетний парень, которого бы следовало женить, сижу за книгой, отвернувшись от отцовской нужды с недостатками, и безвыгодно жгу керосин, он смотрит на меня с большим упреком.

— Сидишь? — спрашивает он. — На кого выходишь?

Потом добавляет:

— Смотри, парень, не зачитайся!.. Плотник у нас Исай был... Эдак же вот тыкался носом по книжкам... Ну, и дотыкался... Ум за разум зашел...

Насмешка не действует.

Тогда отец говорит другим голосом:

— Слышишь, Лексей? Тебе говорят! Ишь моду взял... Люди на работу бросаются, а он, дурак, на книжку... Чего ты там видишь?

А ночью они с матерью долго не спят, шепчутся и на что-то сговариваются...

Я тоже сплю плохо.

Вижу узенький грязный проселок, по которому торопливо бегу из отцовской избы. Вижу мертвое холодное поле, залитое осенними дождями, и ухожу по нему в теплую приветливую сторону... Позади за мной стоит брошенный, одинокий отец, плачущая перепуганная мать и восьмилетний брат Петька, не умеющий запрячь лошадей... Они не пускают меня. Я сцеплен с ними крепкими, невидимыми крючками, и отрываться от них тяжело... Но я отрываюсь... С болью, со страхом, а все-таки отрываюсь и снова иду в теплую приветливую сторону, неизвестно куда...

— Все равно! — кричу я. — Все равно!..

— Проснись, Лексей! Чего бормочешь? — спрашивает отец.

В темноте он тянет меня за ногу, чтобы разбудить, и легонько трясет:

— Чего ты бормочешь?

Я просыпаюсь и сижу вытянув ноги. Отец сидит рядом, тоже вытянув ноги. Потревоженная мать скоблит у себя в волосах. Петька лежит, словно убитый, раскинувшись на дерюжке. В окна брызжет дождем. На дворе всхрапывают лошади. В улице беззлобно лают проснувшиеся собаки...

Через минуту голова моя падает, клонится, и я засыпаю вторично...

А утром, обуваясь, долго смотрю на свои прохудившиеся лапти, на смирную, покорную мать с засученными рукавами, погруженную в дневные заботы, и на выставленную с печи отцовскую бороду.

— Да, надо шебутиться...

4

В октябре отец собирается на базар. Мать, накладывая заплатки на полог, говорит ему:

— Не самой ли мне ехать-то, мужик? Не справишься ты.

— Справлюсь! — отвечает отец. — Чай, не маленький...

— Ну, так запомни! — говорит мать, поднимая лицо. — Ситцу купи синего... Горошком...

— Сколько?

— Да сколько... Считай вот. Тебе на рубашку, Лексею на рубашку, Петьке на рубашку... Аршин пятнадцать...

— Еще чего?

— Еще купи на юбки нам с Грушкой!.. Последнее носим...

— Ну, ладно, не жалуйся... Сколько?

— Я уж и не знаю сколько... Аршин, чай, двенадцать... Наплевать, ежели останется... Годится...

Отец с прищуренными глазами стоит посреди избы, как смирный, податливый конь, привязанный за кольцо, а мать торопливо бросает на него все новые и новые покупки: пуговицы, иглы, булавки, спички, мыло, керосин — целый ворох... Все это — мелочи, пустяки, но все это он должен купить, чтобы никого не обидеть. А когда мать кончает наказы, отец садится на лавку и беззлобно, но с горечью говорит:

— Теперь давай считать... Пятнадцать аршин на рубашки — раз. Двенадцать аршин на юбки — два. Девять аршин на штаны — три. Сколько тут денег?

Мать роняет иголку и шарит ее на полу.

— Ты не прячься! — говорит ей отец. — Считай вот... А у меня подати не уплачены... На сколько кусков разрываться?

— Да ведь нельзя, мужик! — уговаривает мать. — Надо...

— А чего нам не надо? — перебивает отец. — И лошадь надо, и избу надо, и сбрую, и сапоги, и поддевку... Подумай-ка ты...

Сам он не в состоянии думать. Устал. Жизнь замотала. Не в состоянии вытащить и ноги из засосавшего болота. Лицо у него злое, тоскливое. В темных провалившихся глазах чувствуется горе...

В амбар он заходит с большим неудовольствием и, прежде чем зачерпнуть первую меру, плюет себе под ноги. Потом крестится, долго разжевывает зерно на зубах и раздраженно тычет лукошком в собранное „золото“...

— Сколько, мужик? — спрашивает мать, когда я застегиваю полог.

— Все тут! — откликается отец.

Но у матери жалобное лицо и умоляющий голос. Она позабыла, что у нас нет сахару, и просит подсыпать на сахар.

Отец приносит еще одну жертву. А вечером он ходит по соседям и каждому сообщает:

— На базар завтра еду... С хлебом...

Ищет попутчиков, справляется о ценах, а больше всего шатается потому, чтобы растрясти надоедные мысли. Наказанные покупки давят его, расстраивают, и, оседланный ими, он бранит свою жизнь.

Утром провожаем его.

Мать стоит на крыльце, накинув шубенку. Глаза у нее верующие. Я отворяю ворота. Отец, подпоясанный и по-зимнему в теплых варьгах, забирает распущенные вожжи. Трогает дугу, хорошо ли сидит, пожимается... Сбоку около него стоит приготовившаяся в дорогу собака с поджатым хвостом. Низко и торопливо бегут осенние тучи, обволакиваясь утренним дымом из труб. В густом туманном воздухе висит мелкая водянистая пыль...

— Гребешок не забудь, мужик! — в последний раз наказывает мать. — Гребешка у нас нет... Деревянный-то не надо — зубья ломаются... Костяной купи... Лучше. А то и вшей чесать нечем. Слышишь?

— Слышу! — отвечает отец, и выезжает на улицу, увозя с собой наши надежды. Впереди, указывая дорогу, идет собака, переломив левое ухо...

В избе в этот день светло и просторно.

Мать ходит с улыбкой, ровненько, без лишнего шуму. Грушка за гребнем поет песни. Даже кошка — и та почувствовала семейную радость. Сидит на подоконнике, вытянув шею, и пристально смотрит на улицу, умывая лицо. Рядом с ней сидит обрадованный Петька и тоже глядит на улицу, видя перед собой новую полосатую рубаху. Отца ждут целый вечер и от нетерпенья готовы выскочить за околицу. К вечеру мать греет самовар и два раза подкладывает углей, чтобы не потух.

Но отец не едет.

Вечером долго сидим в потемках: кто на печи, кто — на кровати. Потом зажигаем лампу. В третий раз мать подкладывает углей в самовар, но отец не едет. Возвращается он

поздно ночью. В избу заходит на согнутых, растопыренных ногах, низко кланяясь перепачканной головой, а на счастливом лице у него играет самая счастливая улыбка.

— Эй, вы... Милки мои! — кричит он слабым, заигрывающим голосом. — Живы ли вы тут? Леня!.. Сынок! Где ты? Я немножко загулял... Мать!.. Оганя!.. Я немножко загулял... Не ругайте меня... Я немножко загулял...

Мать выходит на двор и ищет покупки в телеге. В избу она вносит мешок и вытряхивает из него на пол. Падают: мыло, подмоченный сахар, выгнутый костяной гребешок и маленький сверток голубого ситцу горошком. Это мне на рубашку за летние хлопоты. Больше — никому и ничего...

Петька с Грушкой смотрят на него злыми обиженными глазами. Ведь они тоже работали. Тоже таскали ненужные кирпичи. В утешенье им отец достает из кармана грязный обкусанный кусок калача. Мать лезет в карман к нему и вытаскивает деньги. Пересчитывает их и, пораженная, смотрит на отца, сделавшего великое преступленье... Денег немного. Деньги пропиты. Мать садится на лавку, и по лицу у нее текут слезы.

— Эх, пес... пес! — говорит она. — Что ты наделал? А!

Отец сидит напротив.

— Обманул я вас! — говорит он, покачивая головой. — Надул. Ну, режьте меня теперь... Казните! Только вот что: как вы понимаете сердце? Ежели оно не вытерпело. Ежели ему утешиться нечем. Тогда как?

— Молчи! — кричит мать. — Тошно!..

— А-а, тошно... А кому здесь не тошно? — спрашивает отец. — Кому? Всем тошно... Уж такую мы воду горькую пьем... Вода у нас нехорошая...

Он не похож на пьяного человека. Отрезвел. Сидит, слегка наклонившись, положив локти на стол, и путаясь языком, показывает нам язвы своей незадавшейся жизни. Ему жалко теперь и мать, роняющую слезы, и нас, потерявших надежды. Но что поделаешь, ежели у него сердце не вытерпело.

Я понимаю отца.

Я смотрю на него и думаю. Да, верно. Мы пьем какую-то особенно горькую воду, и я бы, наверное, сделал то же самое,

что сделал и отец теперь, если бы у меня было трое детей и такая же голодная, несогретая жизнь. Это — единственное средство, чтобы уйти от нее и плюнуть в лицо большеротой нужде...

5

Воскресенье.

Я сижу на лавке, как маленький, подобрав под себя ноги, и, облокотившись, гляжу на дорогу. Напротив, около своих ворот, в зимнем распущенном малахае стоит Василий Попок с лопатой в руках и, не двигаясь, плюет в широкую лужу под окнами. Плюнет и смотрит, как будто играет. Влево от него — другой мужик. Корытин. Бьет лошадь большим кнутовищем. В грязи у него посажен воз с соломой. Лошадь, прыгая, мотает головой, и Корытин, замахиваясь на нее, тоже мотает головой а спокойный ленивый Попок равнодушно плюет в широкую лужу...

В переулке у Селитовых травят собак.

Они налетают одна на другую, схватываются, падают в грязь, визжат, захлебываются. На них наскакивает Селитов с длинным ременным кнутом и, заражаясь собачьим визгом, визжит и сам. Он без шапки, враспояску, с огромной всклокоченной головой и, перегибаясь над собачьей сцепившейся кучей, неистово режет кнутом.

Моросит дождь.

Быстро и низко несутся тяжелые тучи.

Кто-то кричит за стеной:

— Тятька! Обедать иди. Мамка ругается...

Я не знаю, на кого и на что я смотрю. Как будто ни на кого не смотрю в отдельности и все-таки вижу: и эту грязь, затопившую улицу, и загнанную захлестанную жизнь, утонувшую в этой грязи... И Корытина, бьющего лошадь по глазам, и Селитова, лающего вместе с собаками, и спокойного, ленивого Попка, плюющего в лужу...

Заходит дядя Налим.

— Сидишь? — спрашивает он.

По-другому, это значит: — Думаешь, Лексей?

Я отвечаю не сразу. Мне кажется, что я совсем ни о чем не думаю. Сижу вот, подобрав под себя грязные ноги, и смотрю

от нечего делать. Накапливается, откладывается что-то в сердце у меня, но я еще не знаю, что это... Не то—горечь, не то—тоска...

Дядя Налим стоит передо мной с хитрыми, прищуренными глазами. Будничный кафтанишко на нем подпоясан веревкой. На старой фуражке с потресканным козырьком блестят дождевые капли. Один ус у него поднят кверху, другой — опущен вниз. В маленькой, короткой фигуре чувствуется что-то мальчишеское, задорное...

— Скучно? — спрашивает он.

— Скучно! — отвечаю я.

— Мне тоже что-то скучно... Книжечки нет у тебя?

Дяде Налиму 42 года, но сердце у него молодое. Я не знаю, кто и кого заражает из нас. Иногда как будто бы я незаметно толкаю его, иногда — он меня. Мы не говорим друг другу о своей дружбе, но думы у нас одни и те же. Мы оба недовольны жизнью, в которой нам горько, обидно и тесно... Мы чего-то хотим... Не лошадей, не денег, которых у нас, наверное, никогда не будет, а чего-то особенного, неясного еще, непонятного, но совершенно не похожего на то, что хочет отец и все остальные, живущие в нашей деревне... Просто-на-просто нам хочется шебутиться и вертеть какую-то дырочку, чтобы расколоть надоевшую жизнь...

В 1905 году дядя Налим сидел шесть месяцев в тюрьме за политику. А когда вышел оттуда, сказал мужикам:

— Ну, теперь я понял...

Шесть месяцев тюремной жизни превратились для него в тюремную школу, и он, жадно подбирающий каждое слово, выявил и нашел за это время особую правду, которой не видел раньше... и принес ее с собой в деревню. А правда эта состояла в том, что мужикам надо бороться самим за свою жизнь и стоять всем вместе — кучей. Надеяться не на кого. Помогать никто не будет, ни бог, ни ангелы...

Дядя Налим звонил с этой колокольни чуть ли не каждый день. И утром, и вечером, и в поле, и на улице—где только можно... И если мужики все-таки не шли к этой обедне, охали, крякали и стояли перед дядей Налимом с заткнутыми ушами и с робко вытянутыми бороденками, дядя Налим говорил, раздражаясь:

— Надоели они мне!.. Разве это—люди? Чурбаки!..

Теперь у него пять человек детей, старая параличная мать, трехоконная изба с лысым запрокинутым карнизом и длинная сухопарая баба с большим животом. Но дядя Налим плюет на все это. Устал он ловить бегающее мимо него счастье, устал в погоне за ним растопыривать руки и в то время, когда мужики, выгнув ноги, лежат на печи от безделья или грызутся друг с другом, стравленные скукой и жадностью, — дядя Налим, этот одинокий бунтарь, сидит над какой-нибудь книжкой. Черпает из нее горечь и сладость.

Мы одни в избе. Отец с матерью в соседях. Я достаю из сундучка уже довольно потрепанную, зачитанную книжку, взятую у школьного учителя.

— Кто сочинил? — спрашивает дядя Налим.

— Горький! — отвечаю я.

— Максим?

— Да, Максим.

— Та-ак.

Дядя расстегивается, поправляет бороду и, постукивая пальцем по книге, неторопко говорит:

— А все-таки башка этот Горьков, ей-богу!..

— Почему?

— Да как же... Сам вылез... Посадили его вот в такой же мешок, как и нас с тобой, и говорят ему: „вот твое место, Горьков... Сиди!“ А он взял да и вылез... Показал им кукиш и — пошел колесить... Теперь — человек!..

Увлекаясь, дядя Налим рассказывает мне о жизни Горького, о котором он знает столько же, сколько и я. Делает его сказочным героем, вылезающим из посаженного мешка, и передает все это так ярко и образно, с такими движениями рук, глаз и головы, что, глядя на дядю Налима, я вижу перед собой смелого и решительного Максима, блуждающего по разным дорогам...

У дяди Налима — цель.

Этими разговорами он подталкивает меня. Ему хочется, чтобы и я выкинул какую-нибудь штуку...

— Тут ничего не выйдет! — говорит он, посматривая на меня. — Как погляжу вот я на свою жизнь, так и тошно становится... Канитель... С народом действовать нельзя — не

раскачаешь никак... А одному—трудно... Ну, и живешь. Дал нам чорт в руки решето и заставил воду таскать... Я вот 42 года таскаю, а в чашке у меня все равно пусто... Эх, кабы помоложе был — не стал бы сидеть...

— А куда бы ты пошел?

— Я-а?

Дядя Налим возбуждается.

— Я бы нашел куда... Я бы разыскал... Ну, только на плечах-то у меня камни висят... Тяжело!..

Два раза за свою жизнь он был ходоком. Ходил в губернский город с общественным приговором за пазухой, мерил парадные лестницы, разговаривал с „большими" людьми, пугающими светлыми пуговицами, и теперь ему кажется, что он все дороги знает, все ходы и выходы... Возбуждается и возбуждает других... Он, как крот, упорно и терпеливо роет свою норку, углубляется, лезет все дальше и дальше и докапывается до свежей воды... Читает он все, что попадается под руку. И листочек из отрывного календаря, и попавший обрывок газеты, и евангелие, которое он понимает по-своему — иначе... У него даже есть синяя тетрадка, в которую он записывает вычитанные мысли. В дядиной тетрадке среди наставленных крестиков, черточек и загадочных кружочков можно проплутать целые сутки, ничего не поняв, но сам дядя Налим ходит по замазанным листочкам, как по знакомым проторенным дорогам—легко и свободно... Там у него и пословицы, и поговорки, и маленький словарь, и всевозможные советы с рецептами... Изреченья пророков, писателей, приметы на урожай, на голод и — всякая всячина...

Больше всего он любит читать про революционеров.

Эти люди, стреляющие в царей с губернаторами, производят на него особенно сильное впечатление. Видя их с начиненными бомбами в руках, бесстрашно идущими на верную смерть, он и сам становится смелее. Ширится, поднимается, клохчет и, не сдерживаясь, грубит большому и малому начальству, которое жмет его с разных сторон...

. . . .

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

1

Была я сестрой милосердия в отряде товарища Тараханова. Шли самарской степью несколько дней, должны были соединиться со своими около Оренбурга. Часто в степи попадались казачьи разъезды, дико носились одинокие всадники, зловеще блестели поднятые пики. Иногда завязывалась перестрелка. Мне не в новинку было все это. Ходила я с отрядами около года, а потому и не боялась. Минутами даже приятно было наблюдать за несущимися всадниками, словно это была не война, а праздничное развлеченье, веселая степная игра. Далеко от нас щелкали винтовочные выстрелы, наши товарищи отвечали тем же, и шли мы спокойно, перекидываясь шутками.

Вечером залегли на ночлег около маленькой речушки, поставили часовых. Степная ночь была великолепна. Высокое небо над головой, синее, бездонное. Запах трав, чистый опьяняющий воздух. Кругом разливались ночные неясные шорохи, слабые перепутанные звуки насекомых. Чиркали кузнецы, дергал коростель на ближних лугах.

Товарищ Тараханов лежал около жарника вверх лицом, тихо говорил:

— Вот как устроено в мире. Поглядеть снаружи — тишина, благодать. Жучки, стрекозы — никто никому не мешает. А на самом деле обман. Сильный пожирает слабого. Наши враги тоже не дремлют. Чтобы не попасться им на зубы, мы должны быть сильными. Часовые не спят? Вообще, такая тишина обманчива. Нас с удовольствием разорвут на кусочки, если мы оторвемся друг от друга. Наша сила только в единении. Мы знаем, за что сражаемся — бояться нам нечего. Рано или поздно, но мы победим.

Мне, вероятно, почудилось в эту минуту.

— Вы слышите?

Дергал коростель, чиркали стрекозы. Назойливо тянул тоненький голосок неведомого жука травяного, словно в дудочку играл. Тараханов привстал. Я тоже встала вслед за ним. Мы отошли от жарника на несколько шагов. От реки под обрывом послышались какие-то шорохи. Тараханов смело двинулся вперед, я схватила его за руку. Потом он быстро повернул назад к жарнику, где, утомленные за день, отдыхали наши товарищи. Всех охватила тревога. Быстро взялись за винтовки. Четверо пошли на реку. Одно мгновенье — и на нас из-за мелкого кустарника посыпались частые беспорядочные выстрелы. В грохоте перестрелки услышала выкрик одного из наших товарищей:

— Ой!

И сама почувствовала, что-то обожгло мне левую ногу. Сунула два пальца под чулок, на пальцах оказалась кровь.

— Я ранена.

Сумки перевязочной под руками не было. Быстро сорвала головной платок, разорвала пополам, перетянула раненое место. Опять ясно услышала выкрик одного из наших товарищей:

— Ой!

Метнулась туда, второпях упала через убитого человека.

— Нас уничтожат.

Мысль эта показалась страшной, невероятной. Я вся ослабла, закачалась, не зная, что делать. Самое страшное—не видела врагов, не могла понять, откуда они стреляют. Сколько их? Совершенно ничего не понимала. Вся была скована страхом и жалостью к падающим около меня товарищам. Нужно увидеть Тараханова, итти рядом с ним, чтобы не изменить себе в охватившем отчаяньи. Кто-то закричал:

— Бегите!

Я неожиданно закричала:

— Стойте!

Около меня вдруг очутился товарищ Тараханов. Высокий, бесстрашный, в расстегнутой гимнастерке. В темноте показался великаном. С револьвером в руке повелительно призывал:

— Товарищи!

Я схватила чью-то винтовку, брошенную на траву, но у меня не было патронов. Не помню, как это случилось. Бежала с поднятой винтовкой, и голос мой казался не моим.

— Товарищи!

Рядом бежал товарищ Тараханов.

— Ложись!

Мы быстро легли за маленький бугорок с другой стороны от напавших на нас, открыли частый огонь. Я знала, что такое частый огонь. Мне казалось, что я стреляю из сотни винтовок сотнями рук. Но у меня было всего несколько пуль, которые дал Тараханов. Тут я бросила винтовку и чуть не закричала:

— Тараханов, мне нечем стрелять.

— Вот пули.

Не успела я схватить патроны, Тараханов вдруг наклонился ко мне, точно хотел отдохнуть от огромной усталости. Руки его судорожно прижали винтовку.

Больше ничего не помню. Казалось, что я стреляю из сотни винтовок сотнями рук. Потом закрыла глаза, упала в какую-то яму, но не ушиблась. Всю меня охватил сладкий головокружительный сон, стало легко, нестрашно, тихо.

2

Пришла в сознание рано утром. Из-за степного бугра поднималось солнце. Пели жаворонки в чистом утреннем небе, слышался колокольный звон на соседней церкви. Хорошо было в степной тишине, схоронившей ночные выстрелы, а вокруг лежали убитые товарищи. Милый, бесстрашный Тараханов лежал в расстегнутой гимнастерке, откинув левую руку. И если бы не окровавленная голова, я бы подумала:

— Он спит.

Лицо ясное, молодое. Маленькая бородка, отпущенная во время походов, делала его строгим, серьезным. Глаза смотрели вперед под нахмуренными бровями. Они не закрылись перед смертью, не утратили и выражения гордости.

Если бы не окровавленная голова, я бы подумала:

— Он спит.

В маленькой долинке на смятой траве лежало еще несколько человек: вверх лицами, вниз лицами. В десяти шагах от бугорка, из-за которого мы стреляли, лежал молодой казак с русыми перепутанными кудрями на левом виске. Рядом валялась фуражка с синим околышем. Еще подальше около кустарника сидел мужик на корточках — без шапки, со скрещенными на груди руками. Было похоже, что он молится, наклонив немного голову. На берегу, возле самой воды, вниз животом лежал молодой текстильщик Федоров — московский рабочий. Мальчик совсем, безусый. Лежал, вытянув вперед руки, точно напиться пришел.

Да, наша чаша горька.

Я осталась одна среди убитых. Остальные разбежались. Что мне было делать? Дорог степных не знала, села незнакомые. Надо схоронить умерших. Увидела коршуна летающего. Представила, как враги могут издеваться над трупами — быстро решила:

— Надо схоронить убитых.

Чем же буду рыть могилу? Пальцами не могу, а лопатки нет. Да и стоит ли мне оставаться здесь? Не придут ли сюда вчерашние враги? Не ребяческий ли порыв говорит во мне? Я сидела около товарища Тараханова, думала:

— Скажи, что делать?

Страшно болела голова. Нога раненая болезненно ныла. Дошла до реки, сняла окровавленную повязку, вымыла, перевязала снова. Посмотрела в сторону, не поверила: на песке около убитого казака лежала маленькая саперная лопатка. Да, я должна схоронить их. Я никогда не копала могилы для мертвых, и одинокой, в жуткой степной тишине мне было страшно. Упиралась здоровой ногой в железную лопатку, с трудом отдирала твердую залежную землю. Я была одна. Надо мной — жаворонки, высокое небо, около меня — убитые товарищи. Мне казалось, что я хороню живых, хороню сама, своими руками. Минутами останавливалась, смотрела на Тараханова. Не с ума ли я схожу? Опять копала. Уже по пояс ушла в землю. Наружи оставалась только голова моя растрепанная: платка на ней не было.

Вырыла и первым положила на дно товарища Тараханова. Маленькие карманные часы на руке у него сняла, привязала

на свою руку. Стрелки показывали полчаса девятого. Я, вероятно, очень устала. Помню, сидела около могилы, разглядывая в ней положенного друга, и по щекам у меня ползли слезы. Вспомнила, как в городе мы хоронили убитого на посту красноармейца. Кто-то сказал тогда:

— Да будет тебе легка земля, товарищ.

Я тоже сказала Тараханову:

— Да будет тебе легка земля, товарищ.

Потом притащила Федорова от реки, Стрелкова, Никифорова. Сверху положила старого петербургского литейщика Иванова.

— Ну, вот. Могильный холмик без памятника в самарской степи. Последнее пристанище погибших. Кто узнает об этом? Герои без имени.

3

А мне нужно итти. Я надела кожаную гимнастерку с Тараханова, отошла несколько шагов от могилы. Взглянула в последний раз на свежую насыпь и медленно пошла прямо степью. Вышла на проселочную дорогу, увидела вдали колокольню сельской церкви.

— Надо будет туда.

4

В селе меня встретил молоденький паренек лет четырнадцати, осторожно спросил:

— Ты, тетенька, большевичка?

— А что?

— Казаки здесь приехали: не ходи.

Я на минуточку остановилась, но стоять посреди улицы было неудобно. Кто-то смотрел из окна. Стараясь казаться спокойной, вошла в переулок. Опять догнал меня тот же паренек.

— Тетенька, не ходи в эту сторону.

— Ты меня проводишь?

— Да.

Надежды во мне сменялись сомненьями. Я шла за маленьким человеком, чувствуя себя в его руках. Странно как-то вышло. Зачем я иду за ним? А вдруг он меня выдаст? Почему он узнал, что я большевичка?

Взглянув на меня, мальчик в ужасе зашептал:

— Тетенька, звезду-то сними скорее.

Я совершенно забыла о красноармейской звезде на фуражке у себя, надетой с головы петербургского литейщика Иванова. Бросила в сторону и самую фуражку. Внимательно взглянула на своего проводника.

— Нет, не обманет.

Тоненький, босый, в распоясанной рубашке, он зорко оглядывался по сторонам, словно человек, испытанный долгим опытом. Вывел меня в тихий тупичок, упирающийся в гуменники. Тут бродили телята, на плетне стоял большой головастый петух. Гудели пчелы, лежали сваленные бревна.

— Хочешь к нам пойти? У меня отец тоже красноармеец.

Я тихонько сказала:

— Да.

— Погоди вот здесь, я сбегаю.

Мальчик быстро нырнул на гуменники, а я села за бревнами около плетня. Было немножко смешно прятаться среди белого дня возле бревен, где в любую минуту могут пройти мужики. Но я очень устала от всего пережитого. Минутами казалось безразлично и страшно хотелось спать. Даже пробовала класть голову на бревно, но тут же быстро поднимала ее, настойчиво говорила себе:

— Нельзя.

Вспоминались слова Тараханова:

— Мы сильны только в единении.

А я сейчас одна вот на этих бревнах. Чтобы быть сильной, я должна с кем-то объединиться. С кем? Да, нужно объединиться. Одной существовать нельзя, и в борьбу итти одной нельзя. Нужна большая, огромная сила. Где найти эту силу? Тараханов убит. Иванов, Федоров, Стрелков, Никифоров убиты. Разве с ними все должно закончиться? Нет, неправда. Я должна найти людей, а люди живут около меня. Надо только попробовать.

Усталость моя прошла, в теле почувствовалась крепость, в голове вспыхнули новые мысли. Мне уже не было страшно. Сидела за бревнами около плетня, нетерпеливо поджидала маленького друга. Он прибежал перед вечером, когда спускались теплые мягкие тени, радостно заговорил:

— Тетенька, айда к нам...

5

В задних воротах нас встретил отец, бывший красноармеец, с деревянной ногой...

. . . .

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

1

Не слышно проходила ночь. Громко пел Силантьев петух утреннюю зорю. Бледной полоской гляделся рассвет. Таяла темень на улице, розовел краешек неба, а Тихонов сидел над чертежами, утомленно водил карандашом по бумаге. Глубоко засевшие глаза горели возбужденным блеском, впалые щеки румянились. Падал карандаш — Тихонов засыпал коротким тревожным сном. Утомленный мозг беспорядочно дорабатывал неоконченные фигуры, пальцы проводили странные фантастические линии. С невероятной быстротой вырастала огромная машина — стальной гигант. Вся рабочая слободка дивилась. Мужчины с гордостью говорили:

— Это выдумал товарищ наш, Григорий Николаич Тихонов.

— Молодец.

Из толпы громко кричал знакомый голос:

— Бездомовец он, а не молодец. Жрать скоро нечего будет от его окаянной выдумки.

Боялся выкрика Тихонов, чувствовал себя до бесконечности униженным. Даже во сне робко втягивал плечи, прятал чертежи. Кричала жена, Лукерья Васильевна, курносая баба в опорках на босую ногу. Невидная в толпе слободских поклонников, собравшихся посмотреть изобретение, она выходила вперед, ставила перед Тихоновым двоих ребятишек, третьего грудного кидала под ноги.

— На вот, выдумывай! Ты изобрел.

Потом хватала за плечи, сильно трясла.

— Всю дурь из башки твоей вышибу!

Просыпался Тихонов с больной головой. Дергало в висках от длинной бессонной ночи, по затылку колотили молотками.

Долго сидел у стола, бессмысленно осматривая ночную работу. Вешал мешочек с провизией на правую руку, закуривал.

В ярком свете утреннего солнца полоскались зеленые рубашки заводских тополей. В будке у калиточки сидел сторож Петров, веселый седой старичишка с желтыми табачными усами. Как гвоздь он: вбили в одно место — торчит. Сел в будочку у калитки — сидит двенадцать лет. Двух хозяев пересидел. Старый помер, молодого прогнали в Октябрьскую революцию. Делает вертушки из махорки, балагурит. Тихонову с удовольствием протягивает сухую, заскорузлую руку.

— Мое почтеньице, Григорий Николаич! Все ли здоровы помаленьку? Как поживаете?

Удивляется старик.

— Непонятный вы человек, Григорий Николаич. Сколько лет гляжу на вас — до нутра добраться не могу. Очень уж вид сурьезный у вас, и матерно никогда не ругаетесь вы.

Все считали Тихонова непонятным. Когда услышали про чертежи, за которыми сидит по ночам, начали смеяться.

— В ученые лезет. Немытый чорт!

— Разве можно с нашим рылом в калачный ряд?

И жена думала так. Глядит на мужа, казнится. Ночь глухая, спят все, а он сидит за чертежами. Встанет, походит, опять сядет. Жалко жене, скажет:

— Ложись, Гриша, устал.

Тихонов виновато улыбнется.

— Ты спи, пожалуйста, спи. Я тебе не мешаю.

Жена начинает разжигаться.

— Кто же тебе мешает? Я что ли?

— Никто никому не мешает. Спи.

— Не укладывай, без тебя я знаю. Ишь, ласковый больно! Смотри, на колокольню не залезь от своей науки. Который месяц сидишь от пустой головы? Чего заработал?

Вскакивала с кровати в одной рубашке, возбужденно трясла мягкими пустыми мешками грудей. Полуголая, косматая, казалась похожей на ведьму, вылетевшую из трубы. Минутами Тихонову хотелось ударить ее злобно, жестоко, без жалости, чтобы завизжала на всю улицу. Сдерживал вспыхивающий гнев, спокойно говорил:

— Какая ты нехорошая баба! В карты я не играю, водку не пью. Чего тебе жалко?

В добрые минуты и Лукерья говорила тоже спокойно:

— Не жалеешь ты нас, Гриша. Умрешь, кто будет кормить меня с ребятишками?

— Больше ни о чем не думаешь?

— Думать-то не о чем мне.

— Да, это верно.

— Неужто неправду говорю тебе? Чай, никогда не хвастала перед тобой, кого хошь спроси.

2

Вся жизнь смеялась над Тихоновым. Не дала образования в молодости, приходилось теперь наквитывать, под старость. Правда, до старости далеко, только тридцать восемь лет, да нужды было не мало. Словно мешок с песком тащил на себе— рано согнулся, пожелтел. Мальчишкой поступил на завод—не до ученья тут. Книжки в руках не видал до двадцати лет. Молодость подошла, теплые весенние вечера. Встретилась Лукерья, молодая работница. Дала себя почувствовать молодая кровь. Не на радость сошлись два слепака. Сначала весь мир казался другим, ничего не надо было, кроме лишней копейки в дому. Через год пошла тоска смертная. Камнем тяжелым повисла жизнь: комнатушка крошечная, да вечные разговоры про лишнюю копейку. Потянуло Тихонова за книжку. Ночи напролет просиживал. Многое не понимал из того, что прочитывал. Чем труднее была книжка, тем сильнее хотелось осилить ее. Богатства книжки не давали. Приходилось последнее тратить на них. И время свободное целиком уходило на чтение.

Лукерья ворчала, потом ругаться начала:

— Какого ты дьявола в своих книжках? Чорт-дурак! Чай, ты не мальчишка восьмилетний.

А Тихонов чувствовал: без книжки ему не прожить — все готов отдать за нее. Тут еще появилась страсть непонятная к изобретениям. Когда мальчишкой был, разбирал замки по косточкам. Разберет, опять сложит. Интересовало нутро каждой вещи. Высмотрит винтики, пружинки, гвоздочки. Думал,

баловство это ребячье. Стал постарше — баловство начало мучить не на шутку. Уже работая на машинах, часто тревожила мысль, как они устроены. Сложные непонятные части казалися живыми, таинственными, хотелось ощупать их, вникнуть в сердцевину. Когда освоился с техникой, все стало казаться проще, доступнее. В голове засела мысль выдумать что-нибудь самому. Еще крепче взялся за чтение. Больше стало неприятностей в семье. Не понимала Лукерья страсти влекущей, озлобленно говорила:

— Когда ты оставишь дурацкие выдумки?

И на заводе смеялись, как над дурачком:

— Григорий-то у нас—эроплан хочет выдумать.

Трудно было итти путем самоучки.

Надеялся Тихонов только на крепкую волю свою. Мысленно сказал себе в утешение:

— Лучше умру на десять лет скорее, если чахотку наживу, а заветного не брошу. Еще сто книжек прочитаю — до чего-нибудь додумаюсь. Не может быть, чтобы я не выдумал свою машину.

3

Однажды Лукерья сказала ему:

— Вот что, Григорий, милый мой. Если ты не расстанешься со своим циркулем, я всю твою науку в печке сожгу, истинный господь! Разве можно жить с таким дураком? День и ночь сидит, лихорадка болотная — знать ничего не хочет. Для этого ты меня замуж брал — выдумками кормить?

Посмотрел Тихонов спокойно, спросил:

— Ты это серьезно говоришь?

— Играю с тобой.

— Если ты испортишь хоть одну бумажку — я убью тебя.

Колесом завертелась Лукерья, захлебнулась в словах ненавистных.

— Ах, ты, нечистый дух! Кормилицы-батюшки! Да я тебе все глаза выдеру, только пальцем тронь меня. Другую, верно, завел? Обсосал мою канфетку, не нужна я стала. Врешь, сукин сын, не тронешь! Я скорее уморю тебя.

Горько стало Тихонову. Одиноким почувствовал себя, никудышным. Пробовал домой не ходить по целым вечерам, до глубокой полночи просиживал на улице в тихом уголке, лелея неразделенные мысли. Когда возвращался домой, Лукерья встречала шипеньем:

— У матанечки был? Насосался? Вымой руки поганые, не берись за хлеб!

Все чаще думал Тихонов:

— Куда деваться от такой жизни?

Не было душевного покоя. На каждом шагу раздражали домашние ссоры, злили насмешки товарищей:

— Ну, как твоя машина — не шумит?

Никто не верил, никто не поддерживал дружеским советом. Нападало отчаянье. Бросить хотелось все. Расшибить себе голову от досады. Запьянствовать готов был в такие минуты Тихонов — удерживала твердая воля. Верил, что жизнь как-нибудь изменится, что-нибудь переделается в ней, и тогда можно будет работать спокойно. Были дни, когда и Лукерья становилась лучше. Не кричала, не злилась, не требовала денег за „выдумки". Тихонов думал:

— Куда прогонишь ее?

И все-таки хотелось, чтобы она умерла. Мысль эта засела в голову помимо воли, назревала почти незаметно, неощутимо. Казалось, что единственный враг, мешающий работать над изобретением, — только Лукерья. Снять с себя тяжелые путы семейные, раскрепоститься, и жизнь обязательно изменится. Тогда он, Тихонов, останется один, ребятишек пристроит в детский дом. Будет ходить на рабочие курсы, изучать механику. По вечерам обложит себя книгами, чертежами, рисунками—кто помешает делать любимое дело? Пусть даже нужда, голод—все, что угодно. Любую нужду переживет, любое горе песчинкой маленькой пронесет на плечах, лишь бы только не отрываться от творчества, которое ни на что не променяет.

И когда Лукерья по привычке злобилась на непонятные ей чертежи, не дающие лишней копейки в дом, Тихонов думал:

— Умри — дурацкая баба, сдохни! Я тебе памятник чугунный поставлю за это.

4

На завод прислали молодого инженера. Услыхал он про выдумки Тихонова, позвал к себе.

— Вы изобретаете машину, товарищ?

Смутился Тихонов, рассказал все по совести. Он и сам не знает пока, какую может выдумать машину, но мысли об изобретении отравили ему всю жизнь. День и ночь таскает их в голове, ничем не может заниматься кроме. Товарищи торгуют на базарах, загоняют копейку в дом, а он, как околдованный, думает о машине.

Посмотрел инженер чертежи Тихонова, побеседовал.

— Как же вы думаете теперь?

— Я и сам не знаю как. Знания у меня маленькие, а машину мне выдумать необходимо. Сначала думал, баловство это, теперь вижу: жить не могу без этой выдумки.

— Надо учиться!

— Давно хочу, нельзя учиться мне. В жене своей поддержки не вижу. Прогнать ее—силы не хватает. Неграмотная она баба, пропадет, если выкинуть на улицу. А с ней оставаться жить — я пропаду.

Понял инженер горе Тихонова.

— У вас трагическое положение, товарищ. Или вы должны принести в жертву семейное счастье, или творческие попытки свои. Не будете учиться — ничего не выдумаете. Тут мало одного желания, нужны точные знания. Для каждой выдумки существуют свои законы, без которых человек только мучиться будет напрасно и в конце концов потеряет веру в собственные силы. Выбирайте любое: либо жена, либо наука.

5

Целую ночь думал Тихонов: либо жена, либо наука. Это верно. Жену прогони, друга прогони, отца с матерью прогони, если они мешают жить любимыми мыслями. В нищете останься, нищим умри на койке, если никто не разделит заветные думы твои. Верно. И сказать все это легко. Сделать как?

Ничего не знала Лукерья. Ночью, когда Тихонов садился на кровати, стискивая голову, она говорила ему:

— Сколько напрасно ты мучаешь себя, Гриша. Неужели прирос к этим бумагам?

Поглядел на нее Тихонов больными непонимающими глазами, сказал:

— Уйди от меня! Христа-ради прошу!

— Как уйди?

— Совсем уйди! Не живи со мной. Я тебе платить буду на поддержку.

Лукерья вскочила в одной рубашке.

— Другую нашел? С красными губами?

Вот тут и случилось с Тихоновым неожиданное. Швырнул жену с кровати и спокойно сказал:

— К чорту!

Долго кричала Лукерья, через три дня захворала. Смотрел Тихонов на нее, мучительно думал:

— Ах, если бы умерла!

Не умерла Лукерья. Выздоровела, говорит:

— Я от тебя никуда не уйду.

Смешно стало Тихонову.

— Что я мучаю себя из-за глупой бабы? Учиться надо. Обязательно я должен докончить свою машину.

Сел за стол спиной к Лукерье, говорит:

— Теперь сколько хошь кричи, по-твоему все равно не сделаю. Учиться пойду, по ночам буду сидеть — тебя не послушаю.

ЛАГЕРИ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ КРАСНОАРМЕЙЦА

Сегодня у нас какой-то суматошный день: все прыгают, поют, скачут, укладываются, запирают сундучки. Если поглядеть со стороны на нас незнакомому человеку, подумает он, что на нашу казарму наступают английские капиталисты, а мы спешно, без боя, с шутками да прибаутками отходим в тыл. Через двадцать минут койки убраны, постели свернуты, и все это сложено на двух грузовых автомобилях, дожидающихся около крыльца. А еще через двадцать минут наши ребята в зеленых летних гимнастерках, мерно покачиваясь, крепкой стеной, под музыку, выходят в пыльную городскую улицу и зеленым морем медленно уплывают за город, где начнется лагерная жизнь. Мы с Сергеем Павловым шагаем рядом, друг над другом подсмеиваемся.

— Держи левую! — шепчу я ему.

А он подмигивает мне глазом:

— Шагнем. Ты сам шагаешь сразу обеими ногами...

Это верно. В этот день я будто разучился шагать в строевом порядке, и мне все время хочется выскочить из рядов, обогнать всех товарищей, кувыркнуться на траве и с кем-нибудь побороться. Взводный наш давно уже потирает вершинку себе от горячего солнца. Когда выходим за город в свежие зеленые просторы полей, он, помахивая рукой, весело смеется:

— Ну, товарищи, поваляйтесь маленько на зеленой травке.

Кто ложится, закуривает, кто собирает цветочки, а Смирнов с Потаповым схватываются бороться. Потапов ростом маленький, чернявый, но ловкий, как кошка. Высокий, здоровенный

Смирнов ломает его медведем, но Потапов под общий хохот перекидывает здоровяка через голову, садится на него верхом, громко кричит:

— Что, Керзон, лежишь?

Меня считают молодым красноармейцем, и лагерную жизнь я знаю меньше всех. Теперь я шел в лагери с каким-то любопытством и всех расспрашивал:

— Как там? Чего?

Некоторые смеялись надо мной, нарочно говорили:

— Медведей белых будут показывать...

Когда вдали показался зеленый лесок на горе, а в нем белые лагерные палатки, это мне очень понравилось, и я вспомнил тут нашу деревню: она тоже стоит на горе, только нет там зеленого лесочка, и вместо белых палаток глядят черные соломенные крыши... Один раз на лекции лектор говорил нам, что все крестьяне живут неправильно, по-старому, а царское правительство о них не заботилось. Теперь вот Советская власть, как только окрепнет в настоящем виде, она будет помогать крестьянам строить новую жизнь, и хозяйственную и культурную. Да, это бы хорошо было, а то уж очень сидим мы в дыре. Я все-таки надеюсь, что нас никакая сила теперь не разломает, если будем мы сознательными...

Ну, вот и пришли мы. Я чего-то немножко устал, и болит у меня голова. Это, верно, от жары. Солнышко печет больно здорово, даже под деревьями пот прошибает. А как ловко устроены палатки, настоящие маленькие избы, только, конечно, без окошек. В каждой палатке у нас свои нары, свои тюфяки, полотенца. Мы с Сергеем устроились в одной палатке рядом друг с другом. Делать пока нам нечего. Сергей снял ботинки и лежит на нарах босиком, с расстегнутым воротом. Подувает ветерок. Я тоже разулся, и когда наступил голой ногой на травку, засмеялся от радости, будто маленький. Долго мне почему-то не лежалось. Я вышел из своей палатки и начал осматриваться. Хорошо. Кучками везде сидят красноармейцы. Еще не налажен порядок, пришли все прямо с дороги. Уже кто-то заботливый вытащил иголку с ниткой, пришивает

пуговицу у штанов: это он оборвал ее, когда боролся там, дорогой, на отдыхе.

А Сергей в палатке читает книжку американского писателя Синклера, которая называется „Джимми Хигинс". Когда я сажусь около него, он говорит мне:

— Прочитай эту книжку обязательно, очень интересная, про одного американского социалиста, как он сделался большевиком и сколько мученья претерпел за свою правду от буржуазии.

Я обещался прочитать...

Мне все больше и больше начинает нравиться лагерная жизнь. Теперь у нас все устроено, и лагерь наш, как будто большой городок. Есть у нас свой театр, своя библиотека, читальня и школа. Утром мы поднимаемся все враз, быстро одеваемся, выходим на поверку, поем „Интернационал", чайничаем и после этого расходимся по делам: кто идет в школу, кто на строевые занятья, кто на караул, и время проходит незаметно. Когда жарко в школе, все мы садимся не лужайке под деревьями, в середине становится учитель и начинает нам рассказывать разные уроки. Я все-таки удивляюсь, как нас всему учат. В деревне я тоже учился три зимы, ну, там этого нет. Я до сих пор не знал чисел с дробями, а здесь и это проходят. Буду стараться, чтобы не отстать, а то больно нехорошо, когда чего не знаешь. И географию я раньше не знал, а политическую грамоту и в глаза никогда не видел. Все-таки какие мы тумаки росли, батюшки! Вот сейчас гляжу на себя и думаю, будто я другим человеком становлюсь. И все мне хочется узнать, во все пролезть. Есть у нас, например, две секции: драматическая и литературная. В драматической секции учат нас, как на сцене играть, если спектакль захочется поставить, а в литературной нас знакомят с разными стихами и рассказами разных писателей и тоже подсказывают, как самому чего-нибудь сочинить. Допрежде я все не верил этому и часто говорил с Сергеем: „Зачем нам такая наука?" А теперь я маленько изменился и хожу в обе секции. Бывало, мне письмо трудно было накарябать—пальцы не гнулись, а теперь страшно хочется чего-нибудь сочинить. Я даже пробую стихами писать,

но пока у меня выходит плохо: то рифма не такая, то еще чего-нибудь не так поставлено. Преподаватель наш часто советует мне не торопиться. Да я и не тороплюсь: успею. У меня очень характер настойчивый. Если я задумал выучить чего-нибудь—обязательно выучу, ночь не буду спать, а все-таки выучу.

Дела мои подвигаются хорошо, и я этому радуюсь. Учителя в классах и лектора не лекциях всегда на меня другим указывают: вот, говорят, старайтесь как. А я, правда, здорово стараюсь. Книжку американского писателя, которая называется „Джимми Хигинс", я прочитал в два дня урывочками. Вот интересная книжка. Хорошо бы ее крестьянам прочитать, чтобы они в голову вдолбили себе, как надо за свободу всех трудящихся бороться. Когда буду в деревне, обязательно об этом расскажу и спектакль какой-нибудь поставлю в народном доме. Нам всегда говорят, что мы должны не только винтовкой работать, отгоняя капиталистов, которые лезут на Советскую Россию, но еще и головой. Царских солдат учили только, как капиталистов да царя защищать, а теперь учат другому, как защищать трудящихся да строить по-новому жизнь, чтобы не было темноты среди народа... Ну, об этом не буду пока, сейчас итти мне в литературную секцию, да забежать скорее в читальню, посмотреть газеты новые. Привык я к этим газетам, и без них мне, как близорукому без очков.

Сегодня я показывал новое стихотворение своему учителю. Опять сказал мне, что у меня чего-то не хватает. Я сначала маленько рассердился на него, а потом и сам понял, что у меня много не хватает: надо учиться больше. После обеда нынче пойду на строевые занятия, маленько побегаю, поупражняюсь. Пока отложу все книжки, а после надо будет прочитать новую книжку, которую мне подсунул Сергей. Гляжу я сегодня, а она у меня под подушкой лежит. Кто это положил? — спрашиваю я. А он смеется: прочти, говорит, интересная... Все-таки хороший человек этот Сергей. Матерно никогда не ругается и все чего-то думает, а книжек читает больше моего в десять раз. Он, наверное, поступит в высшую военную школу. Чу, рожок, зовут на обед...

Сейчас пришел с караула и услышал новость: через неделю у нас ставят спектакль, и я играю в нем главную роль. Вот чорт возьми, кабы не сорваться. Надо будет головой покрутить и не ударить лицом в грязь. Книжку Сергееву все еще не прочитал. Очень уж уроков много нахватал я, и жадный стал до ученья, словно голодный до хлеба: все-то мне хочется узнать и все выучить. Ну, да ничего, все-таки выучу и книжку Сергееву прочитаю. Учитель литературной секции просил меня написать ему рассказ из моей жизни, как я жил в деревне. Это я ему сделаю в два счета, и много выдумывать не придется—вся жизнь, как на ладонке, стоит.

Рядом в палатке происходит спевка, это работает там хоровая секция, готовится, видно, к спектаклю. Я тоже хотел записаться в эту секцию, но у меня голос никуда не годится, и я всегда „здорю", если кому подтягиваю. Слух что ли плохой. А вот на балалайке выучиться хочется. Есть у нас свои балалаешники и гитаристы. Как сядут они иной раз вечерком под деревьями, да как жвакнут сразу на все лады—эх, чего происходит! Я на что плясать не умею, и то пуститься хочется каким-нибудь трепаком. Надо будет письмо домой отослать, уведомить, как я живу. Там наверно думают всякую всячину. Я ведь тоже маленько плакал, когда пошел в красную армию, боязно было, а теперь смешно над собой...

Скоро итти на ужин. Я уже несколько дней не записывал в свою книжку, а это не хорошо. Если решил писать каждый день помаленьку, то пиши аккуратно, не ленись, иначе и пользы не будет. Сергей пошел бриться в другую палатку, завтра он идет в город, хочет, видно, прифорснуться, двое пришли с караула, спят, а я пока запишу. Спектакль, в котором я играл заглавную роль, показывая одного генерала царской армии, прошел очень хорошо, и меня товарищи вызывали и хлопали мне, как настоящему артисту. Ну, а сначала боязно мне было. Вышел я на сцену, а у меня ноги трясутся и голос дрожит. Народ сидит все знакомый, свои ребята, а мне чего-то не удается в роль войти. Потом, конешно, разошелся и так ловко жарил, сам себя не мог узнать. Стану если во второй раз играть, больше не испугаюсь. А Сергей после говорил

мне, что у меня талант юмористический имеется, и я могу разыгрывать комиков. Некоторые мне советовали заняться этим посерьезнее, но я пока особенно не буду налегать на это. Дальше—больше, виднее будет, а сейчас надо за ученье приниматься. Оказывается, нас учат не для шутки, не для забавы, а по-настоящему, и устроят экзамен, кто чего знает. Вот если тут не сыграешь свою роль — стыдно будет. Немножко мне не дается химия с физикой, или потому что я на них внимания не обращал...

. . . .

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ

Революция

Поехал отец в город и Мишу взял с собой. Приехали, а там народ ходит по улицам, песни поют. Заехали на одну улицу, и выехать нельзя. Отец говорит:

— Сними шапку, Миша, с флагами идут!

Миша спросил:

— А зачем они с флагами ходят?

Отец сказал:

— Революцию рабочие празднуют.

Снял шапку Миша, смотрит. Отец тоже без шапки стоит, лошадь под уздцы держит. А лошадь напугалась, так и шевелит ушами, метнуться хочет. Стал Миша флаги считать. Насчитал двенадцать штук, тут музыка заиграла. Лошадь как дернет! Не устоял Миша на ногах, полетел головой в передок. После вот какая шишка вскочила на лбу, но он не заплакал. Приехал домой, начал товарищам хвалиться:

— Я революцию в городе видел!

Товарищи спросили:

— Какая она?

Миша сказал:

— Двенадцать флагов несли с разными кистями, и музыка играла в большие трубы...

Ленин

Мужики на улице про Ленина рассказывали:

— Есть город Москва, а в этом городе живет товарищ Ленин, самый главный большевик, очень за бедных старается. Я, говорит, не хочу, чтобы богатые с бедными были. Пускай, говорит,

все без нужды живут. А то неправильно выходит: бедные работают, богатые даром хлеб едят. Бедные живут в плохих домах, богатые — в хороших. Так нельзя!

Собрал Ленин всех мужиков с рабочими, сказал им:

— Вы, мужики, берите землю у помещиков, а вы, рабочие, берите фабрики и заводы у купцов. Работайте на одну пользу для всех, друг другу помогайте, тогда и жить вам будет хорошо.

За это богатые не любят Ленина, хотят, чтобы он скорее умер. Если, говорят, он умрет скорее, то и за бедных некому заступаться.

Услыхал об этом Софрон, мальчишка бедный, жалко стало ему Ленина.

Ночью видит сон: пришел будто Ленин в деревню к ним, говорит:

— Ребята, богатые хотят, чтобы я умер скорее. Кто будет за бедных заступаться, если я умру?

Напугались ребята, молчат.

А Софрон, мальчишка бедный, рассердился на товарищей и крикнул во сне:

— Я заступлюсь!

Проснулся отец, спрашивает:

— Ты что кричишь?

Софрон улыбается:

— Ленина я видел во сне...

Электричество

РАССКАЗ МАЛЬЧИКА

Мужики в нашем селе устроили электричество. Мы тоже две лампочки повесили в нашей избе. А у нас был дедушка-старик. Увидал он, лампочки стали вешать, начал ругаться. Вы, говорит, бесов тешите, и пузырьки ваши не станут гореть. Я тоже не верил, пока устраивали. А когда устроили совсем, выпустили свет на всю избу, мы все удивились.

— Что такое!

В пузырьках волосочки тоненькие загорелись, а сами пузырьки чуть тепленькие. Над каждым пузырьком головка

черная прилажена, а в головке — маленькая ручка. Повернешь эту ручку направо — в пузырьке огонь загорается. Повернешь еще раз опять направо — огонь потухает. Керосину наливать не надо, и спичек не надо.

Тут мастер, который делал, сказал нам:

— Вот, ребята, до чего ученые люди доходят: в избе светло, и копоти нет. Можно и печку дровами не топить, на электричестве любая пища сварится. И лошадей не надо — поле пахать — можно плуг электрический сделать: сам пойдет, босиком не догонишь...

Ушли все из избы, не терпится мне, хочу хорошенько узнать: жгется или не жгется волосок в пузырьке. Отвернул пузырек от головки—огонь погас. Пощупал я пальцем то место у головки, где пузырек привинчивается, а меня как дернет по пальцам, я закричал.

Вошел мастер в избу, спрашивает:

— Ты что кричишь?

Я сказал:

— По пальцам ударило меня.

А мастер говорит:

— Отвинчивать лампочку нельзя, когда электричество работает, можно до смерти убить человека...

II. ЗАПИСКИ НЕВЕРОВА О ПОЕЗДКЕ В ПОВОЛЖЬЕ ЛЕТОМ 1923 г.

В коммуне „Роза“

Конец августа. Дни стоят теплые, солнечные. Кругом на несколько верст расстилаются зеленые поля. Мы выезжаем из большого села Мусорка Мелекесского уезда, Самарской губернии. Едем широкой долиной, густо налитой темной зеленью бахчей, коноплянников и редких, но крупноголовых подсолнышков, посаженных для „украшенья“. По обе стороны, словно поросята крупные, развалились арбузы, дыни, тыквы. Приветливо чернеют соломенные шалаши, с любопытством посматривают ребятишки. Кое-где мелькают жницы, убирающие просо, ковыляет старичок, опираясь на палочку. Работают больше в одиночку или по двое. И вдруг среди одиночек, согнувшихся на своих полосках, перед нами сразу вырастает несколько человек — мужиков и баб — на широком двухдесятинном участке. Длинной трудовой цепью они одолевают еще неубранный, только что початый загон, засеянный овсом. Мужики дружно взмахивают косами, бабы поблескивают серпами.

Ямщик говорит нам:

— Это артель работает. Живут они на селе, каждый пока своей семьей, а для работы соединились вместе, чтобы поскорее осилить полевую работу.

— Дружно работают? — спрашиваем мы.

— А это как придется. В артельной работе не станешь на руки глядеть каждому человеку. Который, может быть, и меньше сработает, не поспеет, но зато артель — сама работа лучше выходит, и усталости меньше.

— А коммуна где?

— Коммуну что-то не видно.

Ямщик оглядывается по сторонам, пристально смотрит вперед.

— Наверно, обедает...

Справа, по взгорью, над сонными зелеными полями тянется дубовый лесок, уже роняющий первый желтый лист. Местность очень красивая. Над полями стоит тишина. Только песня девичья прорвется изредка, проскрипит колесо проезжающей мимо телеги, да вскрикнет мальчишка-сторож, пугающий воробьев с бахчей. Мелкий, корявый дубняк то подходит вплотную к посевам, то опять поднимается вверх на взгорье, оставляя позади себя редкие трепещущие березки.

Ямщик, оборачиваясь, говорит, показывая кнутовищем вправо:

— А вон и коммуна. Заедете?

— Обязательно.

Почти около самого лесочка длинной улочкой в один порядок раскинуто несколько изб без дворьев, и тут же позади колодец, „саманная“ кузница, звонко постукивающая молотками. Около одной избы за стеной стоит школьная парта. Здесь, оказывается, своя школа и своя учительница была, которой из своих средств коммуна „Роза“ и жалованье платила, чтобы ребятишки не бегали в село за семь верст.

Из сеней выходит молодая девчонка и, нисколько не удивляясь нашему приезду, проходит мимо.

В небольшой крестьянской избе, за общим столом, сидят коммунары — обедают. Дружно постукивают ложки в большой деревянной чашке. Едят пшенную кашу с тыквой, баба-стряпуха подает на стол арбузы. Среди мужчин с загорелыми лицами сидит молодой красноармеец с розовыми девичьими щеками, с любопытством смотрит на нас. „Старшой“, не отрываясь от еды, отвечает на наши вопросы.

— Живем ничего пока, голод вот только подшиб нас, и то мы все-таки меньше голодали, чем другие крестьяне.

— Сколько вас человек?

— Нас немного осталось.

— Почему?

— Потому что беспартийные были среди нас, не ужились, „разделились“. В этом конце вот мы живем, а в том конце— беспартийные. Да мы и не жалеем об них — пускай. Все равно вернутся к нам.

— А вы не расколетесь опять?

— Не собираемся.

— Сколько у вас засева?

— Ярового — 42 десятины, ржаного — 37.

— А скотом как богаты?

— 12 лошадей и 12 коров. Это у всех, вместе с беспартийными.

— Урожай каков?

— Урожай нынче неважный: ржаной замолот 32 пуда.

— Держаться думаете?

— Думаем держаться.

Я смотрю в передний угол, вижу там несколько почерневших икон, говорю:

— А это что? Ведь вы коммунисты.

„Старшой“ спокойно улыбается.

— Чего же тут удивляться? Я-то вот коммунист и не смотрю никогда в передний угол, но куда я дену свою бабу, которую надо еще годов десять кипятить. Придет время, и она перестанет стукаться лбом.

Слышится дружный, безобидный смех мужчин. Бабы молчат, улыбаются, не возражают.

... И опять степь.

Едем дальше, по селам Мелекесского уезда. Дорогой, под звон приискательских колокольчиков, оборачиваясь на коммуну „Р о з у“, думаю я:

— А все-таки вот коммуна, крошечный островок, маленькая звездочка. Пусть еще много недостатков, пусть иконы в переднем углу, повешенные „для баб“, пусть и беспартийные отделились, но несколько человек сидят за одним столом, едят из одной чашки и труды свои кладут в общую кучу, на общую пользу. Хорошо и это на первых порах, остальное придет своим чередом, только бы была вера друг в друга, а вера эта есть, она чувствуется, ибо коммуна „Р о з а“, несмотря на все испытания, существует уже несколько лет.

III. ПИСЬМО А. С. НЕВЕРОВА К МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1923 ГОДА

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Несколько лет тому назад (1915 г.) Вы были так добры ко мне своим вниманием в оценке моих произведений. Одновременно с этим письмом я посылаю Вам заказной бандеролью три книги[1]) своих сочинений и прошу принять их от меня, как выражение моей признательности к Вам. Я был бы очень благодарен, если бы Вы нашли время указать мне мои достижения и промахи. В Советской прессе книги получили хорошие отзывы, но должен сказать, что книгой рассказов „Лицо жизни“ я недоволен, ибо рассказы в ней подобраны не одинаковые по своей ценности. Есть даже на мой взгляд определенно слабые, но мне как-то нужно было собрать их воедино, чтобы через них увидеть *свое лицо*[2]). Более ценной я считаю повесть „Ташкент—город хлебный“, не касаясь пьес, а в общем, я недоволен собой, и все мне кажется, что я еще ученик первого отделения, который должен перейти в третье.

Я уже перебрался из деревни и второй год живу в Москве. Пишу две крупных вещи: „Повесть о бабах“ и роман „Гуси-лебеди“ из жизни революционной деревни. Думаю ими что-то сказать, если осилю замыслы.

Привет Вам и низкий поклон.

А. Неверов.

17/x — 23

Москва, Б. Полянка 12, Александру Сергеевичу Неверову.

---

[1]) Три книги—сборник пьес, „Ташкент—город хлебный“ и сборник рассказов „Лицо жизни“.

[2]) Подчеркнуто Неверовым.

ПРИМЕЧАНИЯ

1923 г. (продолжение)

224. В садах. Напеч. в „Красной Ниве“, 1923, № 21, от 27 мая, стр. 1—5; вошло без существенных изменений в сборник „В садах“, откуда и перепечатывается. Текст выверен по чистовой рукописи. Первоначальные наброски этого рассказа относятся еще к концу 1922 г.

225. Полька - мазурка. Напеч. в „Прожекторе“, 1923, № 8, от 31 мая, стр. 14 — 21, и № 9, от 17 июня, стр. 8 — 13; вошло в сборник „В садах“, откуда и перепечатывается; текст сверен по рукописи.

226. Жучка, детский рассказ, — „Работница“, 1923, май, № 5, отдел „Малым ребятам“, стр. 30. Вошло в сборники „Новая детская библиотека“; А. Неверов, „Рассказы“, ГИЗ, М., 1924, и „Борькин рассказ“, изд. Мириманова—М., 1924.

227. Живые силы. — „Крокодил“, 1923, № 21 (51), от 3 июня, стр. 811. Подпись: Насмешник.

228 Курица не птица. — Там же, стр. 49 — 50. Подпись: Насмешник.

229. Конференция. — „Крестьянка“, 1923, № 10, июнь, стр. 52—53. Подпись: Насмешник.

230. Младенец. — „Работница“, 1923, № 6, июнь, стр. 43 — 44. Подпись: Насмешник.

231. Санька храбрый, детский рассказ. — Там же, отдел „Малым ребятам“, стр. 47. Вошел в сборник „Нов. дет. библ.“ и „Борькин рассказ“.

232. Деревня в современной русской литературе I. „Глазами Пильняка“. — „На посту“, 1923, № 1, июнь, столб. 153 — 158. Подпись: Деревенский. Тоже (продолжение) — II. А. Яковлев. III. Ф. Гладков. IV. П. Яровой.—„На посту“, № 2—3; сент. — окт., столб. 203—214; V. М. Волков. VI. П. Низовой.—„На посту“, 1923, № 4, нояб., столб. 143—150.

233. Большевики. Начало рассказа напеч. в журн. „Крестьянка“, 1923, № 13, авг., стр. 42 — 43; целиком напечатано в журн. „Город и Деревня“, 1923, № 5, авг., стр. 30 — 36; рассказ вошел в сборник „В садах“, откуда и перепечатывается. Текст сверен с рукописью.

234. Грамотники. — „Крокодил“, 1923, № 32 (62), от 26 авг., стр. 1007; подпись: А. Неверов.

235. Лирика в граните (о С. Обрадовиче), критическая статья.—„Прожектор“, 1923, № 12, от 31 августа, стр. 26—28.

236. Первая победа. — „Крестьянка“, 1923, № 14, авг., стр. 11—13. Подпись: Деревенский.

237. Горе-горькое. Рассказ.—„Делегатка“, 1923, № 8, стр. 10—12.

238. Старуха — „Крестьянка“, 1923, № 15, сент., стр. 42. Подпись: Деревенский.

239. Аэроплан. — „Работница“, 1923, № 9, сент., отд. „Малым ребятам“, стр. 38.

240. Красный сыщик. Рассказ написан в начале осени 1923 г. А. С. Неверов читал этот рассказ вместе со следующим („Дырдоска“) на литературном вечере кружка „Никитинские Субботники“, 29 сентября 1923 г. Напечатан рассказ в „Прожекторе“, 1924, № 20, от 2 дек., стр. 6—12; издан отдельной книжечкой в изд. Г. Ф. Мириманова, М., 1924; текст дается по „Прожектору“.

241. Дырдоска. О времени написания см. примечания к предыдущему №. Напечатано с подзаголовком: „(Посмертный рассказ)“ в „Прожекторе“, 1924, № 7 (29), от 15 апр.; стр. 9 — 12. Вошло в посмертн. сборник „Рассказы“. М.—1924.—Л. Дается текст „Прожектора“; выверено по рукописи.

242. Дела культурные. По Самарской губернии. Не напечатанная статья. Сохранилась в рукописи. Первоначальное заглавие: „Дела школьные“. На рукописи дата: 15/X—23 г.

243. Беседы по кооперации. — „Крестьянка“, 1923, № 17, окт., 25. Подпись: Дядя Саша.

244. Старый и новый стиль. — „Крестьянка“, 1923, № 17, окт., стр. 33—34. Подпись: Насмешник.

245. Птичка в клетке, детский рассказ. — „Работница“, 1923, № 10, отд. „Малым ребятам“, стр. 40. Вошло в сборник „Артисты“.

246. Золотой.—„Крокодил“, 1923, № 38 (68), стр. 1106. Подпись: А. Неверов.

247. Японское землетрясение. Написано осенью 1923 г.; где было напечатано, найти не удалось.

248. Мужицкое горе.—„Крокодил“, 1923, № 42 (72), от 11 ноября, стр. 1166. Подпись: Деревенский.

249. Как крокодил в деревню попал. (Случай из жизни). — „Крокодил“, 1923, № 42 (72), от 11 ноября, стр. 1170. Подпись: А. Неверов.

250. Свадьба. — „Крестьянка“, 1923, № 19, ноябрь, стр. 15—16.

251. Шкрабы. — Напечатано в сборнике „Рол“, кн. 3, изд. „Земля и Фабрика“, М., 1924, стр. 15—54, откуда и перепечатывается; сверено с рукописью. В конце тескта дата: „1923 г., 19 ноября, Москва“. Часть рассказа

(конец — гл. 6 и 7) под заглавием „Бред“ была перепечатана в „Красной Ниве“, 1924, № 10, стр. 232—235.

252. Очерки современной деревни. 1. У сельских учителей. Заметка, написанная после поездки в Самар. губ., летом 1923 г. На рукописи дата: 24/XI—23. Напечатана в книге Н. Н. Фатова „А. С. Неверов. Очерк жизни и творчества“, изд. „Прибой“, Л., 1926, стр. 204—205. 3. Штаны и рубахи. Не окончено. Сохранилось в рукописи; 2-го „очерка“ не сохранилось; может быть, его место должен был занимать № 262.

253. Венчики. — „Крокодил“, 1923, № 44 (74), от 25 ноября, стр. 1202. Подпись: А. Неверов.

254. Строгий муж.—„Крестьянка“, 1923, № 20, ноябр., стр. 17—18.

255. Скорая помощь. — „Крокодил“, № 46 (76), 1923, от 9 дек., стр. 1230. Подпись: А. Неверов.

256. Начитались, как меду напились. — „Крокодил“, 1923, № 47 (77), от 16 дек., стр. 1243, подпись: А. Неверов.

257. В сухомятку. — „Крокодил“, 1923, № 48 (78), от 23 дек., стр. 1270. Подпись: Свойский.

258. Чудесная березка.—„Крестьянка“, 1923, № 22, дек., стр. 30—31. Подпись: Насмешник.

259. Повесть о бабах. Начало большой вещи, рассчитанной, по словам А. С. Неверова, „листов на 15“, в которой он хотел изобразить всю тяжесть положения женщины как до-революционной, так и революционной русской деревни, а также вывести новый тип женщины, борющейся за свои права.

Повидимому, именно об этом произведении говорил Неверов, когда писал в своей автобиографии:

„Единственным моим желанием, которое я бы хотел художественно претворить в жизнь, было—это во всей красоте и величии показать женщину, так несправедливо униженную мужчинами, несправедливо оплеванную церковью в прежних ее канонах, как дьявольский сосуд греха и мерзости. В этом отношении, по примеру святых отцов и пророков, делает перед женщиной величайшее преступление и огромная часть нашего общества. Особенно тяжела и трагична судьба женщины-крестьянки, женщины-работницы“.

Первые шесть глав этой повести напечатаны в сборнике памяти Неверова— „А. С. Неверов“, М.—1924,—Л., стр. 137—174, и вошли в сборник „Повесть о бабах“ и др. рассказы М.—1924—Л., откуда и перепечатываются. Сверено с рукописью, в которой имеются даты, указывающие на время работы над „повестью“ (17/X–23 г., 11/X, 26/X — в конце 5-ой главы). Кроме того, сохранился небольшой отрывок в рукописи, которой печатается впервые (в конце).

260. Сильный характер. Печатается впервые по рукописи, на которой имеется подзаголовок: „Рассказ“, и дата: „29 ноября“.

261. Про него. Напечатано в „Крокодиле“ (?). Печатается по рукописи, с значительными авторскими исправлениями.

262. В коммуне „Роза“. Написано осенью 1923 года, после поездки Неверова в Самар. губ. Воспроизводится в приложениях.

263. Как у нас война была. Рассказ мальчика. Напечатан в детском журнале „Искорка“, 1924, № 1, стр. 3—9; Подпись: А. Неверов. Дается текст по журналу „Искорка“. Сверено с рукописью.

264. Электричество, детский рассказ. Вошел в сборники „Нов. дет. библиот.“ и „Артисты“. Перепечатывается в приложениях.

265. Как волк зайченка ловил, детский рассказ. Вошел в сборник „Артисты“.

266. Подружки, детский рассказ. Вошел в тот же сборник.

267. Трудная задача, детский рассказ. Вошел в сборники: „Нов. дет. библ.“ и „Артисты“.

268. Страшный замок, детский рассказ. Вошел в сборники: „Артисты“ и (под заглавием „Маленький слесарь“) в „Нов. дет. библ.“.

269. Борькин рассказ, детский рассказ. Вошел в сборник „Борькин рассказ“.

270. Детский дом, детский рассказ. Вошел в сборник „Борькин рассказ“.

271. Глиняный солдат, детский рассказ. Вошел в сборники: „Нов. дет. библ.“ и „Борькин рассказ“.

272. О чем говорили куклы. Не напечатано (?).

273. Как жили куклы и что сделал оловянный солдатик, детская сказка. Выпущена отд. книжкой, изд. Мириманова, М., 1924.

274. Страшный гриб, детский рассказ. Написан в 1923 г.

275. Американская скорость. Написано в 1923 г.

276. Земляничка. Написано в 1923 г.

277. Хромой воробей. Написано в 1923 г.

278. Чудо чудесное. — „Крестьянка“, 1924, № 1, январь, стр. 27—28. Подпись: Насмешник.

279. Сберегалка. — Там же, стр. 4—5. Подзаголовок, обведенный черной каймой: „Последний рассказ А. С. Неверова“.

280. Путешественники. — „Крокодил“, 1924, № 4 (84), февраля 29, стр. 11, подзаголовок: „(Посмертный фельетон)“. Подпись: А. Неверов.

281. Христианская кончина дьячка из Покровского прихода. — „Крокодил“, 1924, № 5.

282. Царская встреча. Повидимому, последнее произведение, написанное Неверовым. Напечатано в „Красной Газете“, 1924, № от 22 января (в день памяти 9 января), откуда и перепечатывается.

1920—1923 г.г.

283. **Маленькие рассказы**. Написаны в разное время, с 1920 по 1923 г. Восемь из них напечатаны в „Красной Нови", 1922, кн. 3 (7); стр. 3—7. Все вошли в книжку „Радушка", изд. „Земля и Фабрика", М.—Л., 1924 год. Посвящение: „Молодости своей посвящаю эту книгу". Здесь соблюден порядок этой посмертной книжки. Текст сверен с чистовой рукописью.

I. **Радушка.** Впервые напечатано в сборнике „Свиток", № 3, М. 1924, изд. „Земля и Фабрика", стр. 25—26. Дата: 1923.

II. **Цветок**. Вошло в „Радушку". Дата: 1923.

III. **Поэма о женщине**. Напеч. впервые в сборнике „Свиток", № 3, М. 1924, стр. 22—29. Вошло в „Радушку". Дата: 1923. Текст дается по чистовой рукописи.

IV. **Птица малая**. Напеч. впервые в „Свитке", № 3, стр. 27, вошло в „Радушку". Дата: 1923.

V. **Отрывной календарь.** Напеч. в альманахе „Современники", № 1, М. 1923, стр. 43—49. Вошло с некоторыми изменениями в „Радушку", дата: 1922.

VI. **Счастье.** Впервые напеч. в „Красной Нови", 1922, кн. 3, вошло в „Радушку", написано в 1920 году.

VII. **Любовь.** Впервые напеч. в „Красной Нови", 1922, кн. 3, вошло в „Радушку". Дата: 1922.

VIII. **Горе**. Впервые напеч. в „Красной Нови", 1922, кн. 3, вошло в „Радушку". Дата: 1922.

IX. **Человек без одежды.** Напеч. впервые в „Красной Нови", 1923, кн. 3; вошло в „Радушку", дата: 1922; но в сохранившейся черновой рукописи имеется поставленная рукою Неверова дата: „апреля 8 дня 1921 года". Текст дается по чистовой рукописи.

X. **Чертенок.** Впервые напеч. в журнале „Корабль", 1923, № 1—2 (7—8), янв., стр. 8, дата: 1921, — под общим заглавием: „Маленькие рассказы". Вошло в „Радушку". В сохранившейся черновой рукописи—дата: „1921 год, 8 апреля".

XI. **Бродячий поэт**. Напеч. впервые в журнале „Корабль", 1923, янв., № 1—2 (7—8), стр. 8,—под общим заглавием „Маленькие рассказы". Дата: 1921. В сохранившейся черновой рукописи более точно: „17 апреля 1921 г.". В „Радушке"—дата: 1922—или ошибка, или означает время окончательной отделки.

XII. **Свинья и небо**. Напеч. впервые в „Красной Нови", 1922, кн. 3; также в „Корабле", 1923, янв., № 1—2 (7—8), в „Радушке"—дата: 1922.

XIII. **Жук, получивший свободу**. Напеч. впервые в „Красной Нови", 1922, кн. 3; вошло в „Радушку". Не датировано. Текст сверен с чистовой рукописью.

XIV. **Воробей.** Напеч. впервые в „Красной Нови", 1922, кн. 3; вошло в „Радушку". Не датировано. Текст сверен с чистовой рукописью.

XV. Аннушка. Напеч. впервые в „Красной Нови“, 1922, № 3; вошло в „Радушку“. Текст сверен с чистовой рукописью. Написано в 1920 г.

XVI. Поэту. Впервые напеч. в „Красной Нови“, 1922, № 3; вошло в „Радушку“. Дата: 1920. Текст сверен с чистовой рукописью.

Неизвестных лет

284. Измена. Повесть А. Скобелева. Сохранилась рукопись начала повести (три первых главы). Писано от руки по старому правописанию, из чего можно заключить, что повесть написана до революции.

285. В путь-дорогу. Написано в Самаре раньше рассказа „Десять тысяч“, черновой текст которого имеется на обороте одной из рукописей этого рассказа. Не окончено. Сохранились две рукописи, одна первоначальная, без исправлений, и другая, с значительными исправлениями, но дефектная. Печатается текст этой второй рукописи (с начала и почти до конца 3-й главы, кончая словами: „На дворе всхрапывают лошади...“, затем из 4-й главы, со слов: „В амбар он заходит с большим неудовольствием...“ и до: „В избе в этот день светло и просторно...“). Остальное восполняется по первой, неисправленной рукописи.

286. Из моей жизни. Не окончено. Напеч. впервые в сборнике „Повесть о бабах и другие расск.“, М.—Л., 1924,—изд. „Зем. и Фабр.“, откуда и перепечатывается. Текст сверен с рукописью; в ней имеется подзаголовок: „Рассказ“.

287. Изобретатель. Печатается впервые по рукописи. Рассказ написан в Москве и должен быть отнесен к 1922 — 23 г. г.

288. Лагери. Из записной книжки красноармейца. Печатается впервые по рукописи. Не окончено. Можно полагать, что рассказ написан в 1923 году.

Неоконченные наброски. В рукописях Неверова сохранилось несколько неоконченных набросков, относящихся, повидимому, к последнему времени жизни писателя. Таковы:

а) Кладбище. Рассказ.

б) Пока без заглавия. Роман. I. Шапка.

в) Домик сумасшедших. Перед заглавием в рукописи написано: „Первая редакция“. В конце: „11 июля, 12 ч. 35 м. вечера“.

г) Трупик. В конце дата: „23 ноября 1923 г.“.

д) Горькая радость. Из романа. Напечатано в сборнике „Наш труд“, № 2, 1924, стр. 78 — 80.

е) Сшефили.

ж) Колдун.

з) Бессонные ночи.

и) Иван Иваныч.

к) Веревочка.
л) Гадалка.
м) На отлучку.
н) „На даче“.
о) „Общими силами“, неоконченная пьеса.

Кроме того, в тетрадях Неверова сохранилось много первоначальных набросков, материалов, записей. Все это представляет большой интерес, так как дает возможность проникнуть в самую „творческую лабораторию“ писателя. Эти материалы Неверов ценил, так что даже некоторые из них переписывал на машинке—под заглавием „Материал“. Некоторые из этих материалов были использованы, напр., для „Гусей-лебедей“. Большинство осталось неиспользованными. Любопытна одна из сохранившихся тетрадей, в которую Неверов переписал наброски из записных книжек; она носит следующее заглавие: „Александр Неверов. Запись народных выражений, отдельных слов, сценок с натуры и проч. 1920. Сентября 29 дня. Самара“. На следующей странице — заглавие: „Крестьяне“. Затем 20 стр. заняты текстом („Выражения“, „Фигуры“, „Мысли“, „Сценки“ и т. д.); далее идет ряд чистых листков; потом, на загнутом листке, заглавие: „Горожане“, и 22 стр. текста; остальное чистое.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Детские рассказы. Подготовлены к печати Неверовым. В сборник вошло 14 рассказов: (1. Борькин рассказ; 2. Волк на стене; 3. Жучка; 4. Санька храбрый; 5. Трудная задача; 6. Глиняный солдат; 7. Странный замок; 8. Коллектив; 9. Коммуна; 10. Детский дом; 11. Революция; 12. Ленин; 13. Электричество; 14. Артисты). Собрание рассказов имеет посвящение: „Детям своим: Боре и Ниночке посвящаю“. Печатаются три лучшие рассказа: 1. Революция. 2. Ленин. 3. Электричество. См. выше примеч. к №№ 216, 217 и 264.

II. Записки Неверова о поездке в Самар. губ.

В коммуне „Роза“ (см. прим. к № 262).

III. Письмо А. С. Неверова к Максиму Горькому (А. М. Пешкову), от 17 октября 1923 года. Это письмо не было отправлено, так как на почте не приняли заказного отправления в Германию, где находился тогда М. Горький.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена 2 р. 35 к.
В папке 2 р. 60 к.

